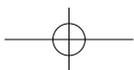


марианна гейде

время отъезда вещей



МАРИАННА ГЕЙДЕ

ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ

О.Г.И

Москва 2005

поэтическая серия **объединенного гуманитарного издательства** и клуба «проект о.г.и.»

Координатор проекта Олег Шатъбежко

«Сопромат» — серия книг новейшей русской поэзии. Хотя обидный вектор поэтики авторов серии (или, если угодно, преемственность) достаточно точно и совсем не случайно определен выбором авторов премии словий, было бы неправильно пытаться объединить их какой-то единой концепцией. Серия — скорее констатация поэтического единства странства и времени для авторов, сначала как литературно-виртуального сообщества «Полутона» (www.poltona.ru), а потом и его воплоще «реального» воплощения в качестве Калининградского поэтического фестиваля *СЛОУИИО 2003–2004 гг.* Почему «Сопромат»? У каждого автора серии есть свое, точное, однозначное толкование названия серии. Свой, так сказать, контекст. А вот общего, извините, нет.

Гейде М. М.

Г30 Время оплеления вещей / Марианна Гейде. — М.: ОГИ, 2005. — 112 с. — (Проект ОГИ / Сопромат).

ISBN 5-94282-315-4

Родилась в 1980 г. в Москве, живет в Переяславле-Залесском. Поэт, прозаик, переводчик. Окончила философский факультет РГГУ. Шорт-лист премии «Дебют 2002» (магала проза), шорт-лист премии «Тенета 2002» (проза), лауреат премии «Дебют 2003» (поэзия). Публикации в журналах и сборниках «Октябрь», «Новый мир», «НЛО», «Армон», «Брежневик», «Вавилон», «Девять измерений» и др. Готовится к изданию книга прозы «Чудище Пleshева озера» (издательство НЛО).

УДК 821.161.1-1
ББК 84(Рос-Рус)6-5

ISBN 5-94282-315-4

© М. М. Гейде, 2005
© В. А. Калинин, предисловие, 2005
© Клуб «Проект ОГИ», серия, 2000
© ОГИ, 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне никоим образом не хотелось бы предпринимать сейчас попытку всестороннего анализа поэтики Марианны Гейде или же тем гаче указывать на ее место в какой-либо, пусть даже максимально любознательной и всеобъемлющей, литературоведческой систематике. Это работа для профессиональных литературоведов и критиков. Я хотел бы всего лишь озвучить некоторые уникальные особенности ее творчества, которые, вне всякого сомнения, могут, а по-моему, и должны заинтересовать потенциального читателя. Посему постараюсь говорить, приняв временно за кредо: «больше лирики, меньше арифметики».

Так вот, основным и, на мой взгляд, редчайшим в отечественной поэзии свойством этих текстов является вполне успешная попытка автора создать в рамках сравнительно традиционного и почти всегда рифмованного стиха полноценный, многоплановый, изобилующий деталями и динамическими процессами, ателлирующий ко всем пяти чувствам читателя ландшафт. Причем в этом случае речь идет отнюдь не об ортодоксальной пейзажной лирике, которой, понятно, никого не удивить. Ландшафты Марианны Гейде отличаются от традиционных русских стихотворных пейзажей в первую очередь своей сюрреалистичностью, заостренностью черт, трогательно-острой фантазматорических пейзажей в отечественной поэзии, особенно в поэзии советского и постсоветского времени, мы знаем достаточно. Это и насыщенные агрибуйтикой развитого тоталитаризма желчные зарисовки «из жизни тиранов» Иосифа Бродского, и пульсирующие, текучие романтические «горьковатые аквадели» актуальных пегербуржлев Полины Барсковой и Всеволода Зельченко, и, конечно, чернота белая посттигеровская Москва Олега Пашенко. Чем же уникальны ландшафты Гейде? Я бы сказал, что присущей им полнотражностью или, может быть, даже многосерийностью. Они не выстраиваются в пределах одного текста, имея единст-

венной своей целью подчеркнуть настроение автора или какую-либо отвлеченную идею. Напротив, возникает впечатление, что в каждом стихотворении содержится кусочек одного и того же очень жизнеспособного, фактурного и многообразного пространства. Создается чувство, что, прочитав тексты Марианны Гейде в «правильной» последовательности, мы сможем сложить из них, как из паззлов или из обрывков — это уж как кому больше нравится, — очень точную и подробную словесную карту какой-то странной фантастической местности. То есть это даже не ландшафт, а один ландшафт. Удивительная и неожиданный метаморфоза происходит с лирическим субъектом при таком подходе к созданию его среды обитания. Традиционная в лирической поэзии доминанта авторского переживания уступает место включенности автора-героя в текст-пейзаж, его вовлеченности в среду, «затерянности в ней». Вместо привычного «автор-герой чувствует, переживает, думает» мы имеем совсем другое: «нечто большое, незнакомое, очень самостоятельное и, возможно, опасное включает в себя автора-героя». И (удивительно, но это так) читатель может испытать редкое удовольствие затеряться в причудливых и странных местах вместе с героем этих текстов. Не побоимся пафоса: Марианна Гейде предпринимает попытку создать для своего персонажа и, конечно, для читателя полноценный и весьма обширный «мир». Такого рода «миротворчество» сегодня характерно отнюдь не для лирической поэзии. Эту историю давно и прочно закрепила за собой жанровая проза. В частности, фантастика разной степени научности и, разумеется, фэнтези. Однако авторы, работающие в этих жанрах, зачастую в силу конъюнктуры весьма ограничены в выборе инструментовари. Мы очень давно и прочно сжились с нарицательным изобилием «детских» аляповатых «вселенных» на книжных полках... Нет-нет, можно назвать множество имен популярнейших прозаиков, которые вполне себе «творят миры», со снисходительной виртуозностью пользуются самыми замысловатыми инструментами современной нам литературы, однако такого рода поэта я, пожалуй, смогу назвать только одного — это Денис Осокин, хотя и его тексты — это все же скорее проза, пускаяй и поэтизированная до крайности.

Что ж, теперь, когда мы на свой страх и риск, констатировали существование созданного Марианной Гейде «мира», попробуем чуть-чуть разобратся в его свойствах. Что это за местность, по которой поэт нам предлагает пройти вместе со своим героем? А места эти очень и очень своеобразные.

*Я вижу холодные стены, дождю
Они подставляють масла,
И трубы свои раскрывают жерла,
Расклеивая бордюры.*

...

*на восьмизерном барабане
сметшая лукавка с кулак
на тонкой шее в небо тянет
торчащий жестяной колпак*

...

*червобразный полустрогов
уложен плиткой шестизерной
и в виде губчатых наростов
на нем топорушатся фонтаны
.....
в цветочной клумбе гербовой
лежит медведь-городовой,
трясет кондитерской секирой
и раскисает, если сыро.*

Мир, в котором существует герой Марианны Гейде, весьма неприветлив и в то же время очень богат яркими деталями, часто даже декоративен. В нем царит запустение, едва ли не разруха. Вне всякого сомнения, это город. Мы даже можем сказать больше — это город постсоветского пространства. Часто в тексте имеется прямая географическая отсылка к родному для автора Переславлю. Сам я в Переславлe не был, однако думаю, что тамошний житель вполне узнает некоторые улицы, площади, аллеи, водоемы. Однако узнает и не узнает их одновременно. Поворот налево остался там же, где он был, арка

так же кривится двойной дугой над подворотней и те же ноне-ра и названия улиц, но это другой город. Дома вертикально вытянулись и оспрастили островежкие крыши, водопроводные трубы стали похожи вдуфт на лапы гигантских пауков, троллейбусы выросли в высоту, они фосфоресцируют и падают на зрителя какими-то жуткого средневекового вида омнибусами, железо уступило место лагуни, меди, бронзе, асфальт заменила брусчатка, привычную нам одежду — мокрые плащи, старые форменные фуражки, иногда вдуфт блестящие металлом ошейники или очки-консервы. Неподалеку сторбленна старуха торговка держит на подносе вместо арахмиса и шоколада толпу пляшущих механических свечков и живых челоувечков с палец величиной... А чуть поодаль бледная девочка в комбинезоне смотрит, как уползают в трещину на угольном, темно-синем асфальте ее противоестественно чистый розовый бант... Впрочем, я излишне увлекся...

Отвсюду здесь сочится, как гравя через трещины в давно не еженной мостовой, большая прогрескная полуразрушенная средневековая Европа. Только века вовсе не Средние. Везде следы современной нам технологии, электричество, автомобиль, только все это ветхое, умирающее и скорее всего обреченное...

...
кирпич с оскоминной рябиной
отлично целостность хранит,
снаружи выглядя руиной,
внутри лишь окнами сквозит.

...
...и надо всем висящие сады
из каменных цветов и черноты оконной,
и электрического бдения влтрин,
и бледный свет, как очерк бродущих руин,
из тьмы вытаскивает узкие колонны,
и краешек стены, обманчиво шершавой,
и все, что кажется достойным права
быть дальше, после ржавчины и тли,
пришедших электричеству на смену...

...
лишь в бесфонарной тьме, в наколочке петлушвей
качается такси с притворными равнодушьем.

Этот город — или, наверное, все же эти города — напо-минает нам жуткий и в то же время крайне притягательный мир кинофильмов Жан-Пьера Жене («Город потерянных де-тей», «Деликатесья»). Соответственно, и населен он персона-жами достаточно мрачными, часто опасными, но всегда при-чудливыми, любопытными, странными. Даже самый заурядный обыватель здесь несет черты загайливо-чудесно искаженного авторским зрением ландшафта.

...
А потом остановка в Сергеевом Пасаде,
И то-то непременно войдет и сидет сзади,
А это мне не по нраву...

...
там рыбаки из тайной глубины
вытаскивают рыб невиданной длины...

Фауна в этих местах также весьма характерна. Пре-имущественно насекомые, ретгиллии и, конечно же, глицы. Все эти существа достаточно агрессивны. С ними нужна ос-торожность. Однако именно они становятся в этом мире но-сителями странной его тайны, их форма, их поведение име-ют особое, смутное, томительное, часто таинственное значение.

...ц, несмытый,
сидит, как перекормленный паук,
чье брюхо ширится, а пасть не устает.

...
чтоб в щель для ключа многоножкой вползти
и сонную душу с собой унести.

...
и хочется в память, как в камень эмею,
запрятать ненужную немощь свою...
...
поэту корабли возвращаются
с грузом птиц, которые больно кусаются...

Этим местам свойственна мрачноватая и складная живописность старых кладбищ, тажеловесных антикварных, изреданных жучком интерьеров, сырых руин. Охристая лепнина полуразрушенных построек и отживших свое механизмов.

...и поздний львиный зев крувится, безъязыкий,
на побелевшие фарфоровые лики,
и струйкой со ставала сбегает муравьи.

...
на пляже городском, уже полупустом,
стопил автомобиль с разверстыми животом,
а пассажиры разбредаются попарно
под механическое торканье ударных...

Для текстов Марианны Гейде характерен высокий уровень «вовлеченности» в них читателя. Создаваемый ландшафт или интерьер всегда очень осязаем, фактурен... Любопытно, каким путем это достигается, тем более что приемы, применяемые автором, нетипичны для современной нам поэзии.

Во-первых, это «осторожная» детализация. Автор не прорисовывает многочисленных деталей, однако и не сводит описание чего-либо к фиксации мгновенного визуального впечатления. Марианна Гейде «фиксирует в поле зрения» всего несколько очень четких и характерных для данного эстетического пространства, однако максимально независимых друг от друга объектов. Читатель просто вынужден нарисовать сам весь остальной пейзаж или интерьер, тем более что задачу его всегда облегчают крайне остроумные игры с освещением и перемещением объектов.

...
под бледными огнями ламп двойных
неделями глядящихся друг в друга,
лежат косые золотые дуги
на темно-серых плечах шерстяных.

...
как каменный шпир на скрепенье теней,
рожденный свечением многих огней,
становится ярче и в весе терзает...

Вторым приемом, или даже сложной системой приемов, я назвал бы постоянное обращение ко всем пяти чувствам читателя. На очень коротких отрезках текста Марианна Гейде успевает зафиксировать максимум визуальной, звуковой, тактильной и даже обонятельной информации. Причем всегда такой «блок» впечатлений очень изящно подан в виде цельного, весьма динамичного образа и достаточно пронзительно, хотя и весьма ненавязчиво, отгнен элементом «личностной оценки», авторского переживания.

...и долги звуки, и вздорная оцуть,
из позднего сна вопрошают и роцуют
о чьих-то духах, золотым коньяком
пролитых над маленьким воротником...

Однако наиболее тонкой и своеобразной системой приемов автора, направленных на создание эффекта «погруженности в атмосферу» мне кажется постоянное помещение героя в «страдательную позицию» по отношению к среде обитания. Это и постоянное желание героя если не уйти от среды, то хотя бы как-то абстрагироваться от нее. И бесконечная констатация несвободы героя от реалий окружающего его мира. И, что, по моему, наиболее интересно, «неотопная осведомленность» героя о происходящих в окружающем пространстве процессах: «Орпаниченность» — разумеется, искусственная — поля зрения автора в предпологаемо обширном пространстве. Часто такой эффект создается нарочитой описательной неточностью:

...
И прятать глухо, и не прятать еще глуше
Руку в руке и пистолет в портлюе.

...
Травяца узкобедрые пашли,
Включив предусмотрительные фары,
Бегут из недр въздыхающей земли.

Видимо, стоит слегка пояснить... То есть совершенно ясно, что пистолет обыкновенно прячут все же в кобурку, а портюлея ни при чем совершенно. Однако именно неумение автора-героя обращаться с этим самым пистолетом и делает пистолет, портюлею и даже неупомянутую кобурку удивительно реальными и одновременно придает герою массу очень четких черт. То же самое с травяцами, отчего-то вдруг выходящими из земли наподобие целой отары апокалиптических зверей. У нас такого не бывает, но именно поэтому веришь в то, что где-то существуют именно такие травяцаи, и сразу же дорисовываешь в голове особенности этого места.

Впрочем, о любопытных приемах, используемых Марианной Гейде, можно говорить долго, потому что их много и все они очень самостоятельны, однако, по-моему, пора уже перейти от рассуждений о свойствах ландшафта и способах его конструирования к основному, то крайней мере, для нас: жителю этого ландшафта, лирическому субъекту Марианны Гейде. О характере его много говорить я не стану, тем более что, прочтя книгу, вы с ним (а это, как правило, все-таки «он»), так как гендер у Гейде, традиционно для новой женской поэзии, «плавает») познакомитесь близко. Скажу только, что он существо весьма рефлексивное, часто желчное, склонное к недовольству собой, окружающим миром и, как следствие, к духовным исканиям. Это не модернистский «переделщик вселенной» и не характерный для постмодерна «язысканный всеядный потребитель», это нечто другое. Что-то есть в нем от депрессивной суицидальной эмпирии Давида Давыдова, от лихорадочно, спазматически восприимчивой аутичности Ирины Шостаковской, но что-то и от восторженной, но туск-

лой философичной иронии Ходасевича и Ватинова. Совершенно нет в этом герое, опять же, на мой взгляд, только одного: нет «отстраненной самодостаточности», характерной для субъектов четырех перечисленных выше поэтов. Любопытно и очень неожиданно поведение такого героя в присутствии ему мире. Герой заворочен окружающим его пространством, но он им и напуган; он поглощен созерцанием, изучением окружающего, но создается впечатление, что все исследование реальности, предпринятое им, посвящено одной цели. Герой хочет в итоге этой реальности каким-либо образом избежать. Он часто домысливает реальность. Возникает такое ощущение, что по многим улицам «причудливых городов» он просто избегает ходить. Это и понятно: ведь подбные улицы небезопасны. Часто герой ищет освобождения от пут реальности в ее метафизических свойствах, в самом духе бренности, шаткости всего, пронизывающем «странные города Гейде».

Но в черное небо дырявое
Мне любо и страшно смотреть,
И красные лайнеры плавают,
Детят на неверную смерть...

Иногда он, наоборот, вдруг тоскует по какой-то иной, вполне плотской, игривой, розовощекой жизни:

Когда бы, как юные звери,
И сами не зная себя,
На руки и спины глядели,
Свое совершенство любя.

Но и здесь «ощущение бренности» всегда играет первую скрипку:

Не ведали мер и подобий,
Рождалась бы в складах земли
И к узкой шпистой утробе
В немом изумлении шли...

И всегда есть «верхний зритель», однако странное у него зрение:

*И только лепчик стит с открытыми глазами
На той необоримой вышине,
С которой всякий путь, произведенный нами,
Не более чем трещина в стене.*

Впечатление такое, что «выходы» из привычного круга бытия, из бесконечной череды пыльных комнат и мокрых улиц окружают героя со всех сторон. И остается непонятная уверенность в том, что герой ни одним из выходов не воспользуется... Почему? Я думаю, что читателю самому будет интересно поискать ответ на этот вопрос. Однако предложу и свой вариант ответа, личный и, без сомнения, спорный. Мне кажется, что причина нежелания героя даже попытаться покинуть привычные пределы — в его глубокой убежденности в искусственности окружающего пространства, его нарисованности. А раз нарисовано пространство, то нарисованы и все выходы из него. Нарисованы таким же образом и, возможно, с той же целью, как был нарисован очаг в каморке папы Карло. Помните «Золотой ключик»? И уверенность в этом автора-героя тем сильней, что он догадывается, а возможно, даже знает наверняка о том, что все это: города, комнаты, сады, кладбища, манашье «пустоты», небеса, дали — в общем, «выходы» — нарисовано им самим.

Причудливо, странно? Да, именно так, причудливо и странно...

Мне хочется еще раз пожелать читателю получить максимальное удовольствие от прочтения книги. Тем более что такого рода удовольствия сегодняшняя литература предоставляет нам, к сожалению, достаточно редко.

Вадим Калинин

* * *

Во тьме несмысленных любовью
Проснулась доплая немота,
Ползет усталый муравей
В тени межреберного грота.

Переползает воротник
И возвращается обратно,
А круглый толубой ночник
На шторе оставляет пятна.

За дверь белые огни
Ползут по небу. Ниже, вторя
Движенью, — поезда, они
Везут переселенцев к морю.

Мерцает ночь. Не знаю, где
Собаچه вздрагивает эхо,
Движенья времени к среде
Дало свистящую прореху.

И сон тремучий не идет,
Когда, от праздности усталый,
Я совершаю переход
Под одеяло с одеяла.

Молитву тихо прошепчу —
И слышу: загихает разум,
Меня задует, как свечу,
Незримый дух золотоглазый.

МАРИАННА ГЕЙДЕ

Вот он сбегает меж бровей
И быстро утекает в ухо,
Золотоглазый муравей
Болеющего плотью духа.

* * *

Бессонницей — шапкой бобрового
Надежно одело меня,
И снова, и снова я пробую
Дожить до грядущего дня.

А он, повернувшись щетиню,
Дразнится другой стороной
И зыбкой подкладкой малиновой
Дрожит по краям надо мной.

Но в черное небо дырявое
Мне любо и страшно смотреть,
И красные лайнеры плавают,
Летят на неверную смерть,

Гудят, словно рыжие оводы,
А ночь шепестит головой,
Скрестив электричество в проводе
С веревкой моей белевой.

Но горько дыханьем заварочным
Делиться с глухим потолком,
Беседовать с желтым огарочком,
Со слабым его огоньком.

Мне тяжело от каменных почестей
Надробий, стоящих за мной,
Под шарканье мышь ворочаться,
К стене приникая спиной.

* * *

И синю, и сладю нелюбо
Питать зарешеченный взгляд,
Когда по морям белогубым
Уходит на волну фрегат.

Печальною всейностью зная
Не тронут, лежит предо мной
Обрубок пространства бескрайний,
Заквашенный сизой волной.

Когда бы, как юные звери,
И сами не зная себя,
На руки, на стины льдадели,
Свое совершенство любя,

Не ведали мер и подобий,
Рождались бы в складках земли
И к узкой илистой утробе
В немом изумлении шли,

Дивились, как тена морская
Вскипает за диким хребтом,
И верили, что, утекая,
Вода возвращается в дом.

* * *

Ночною порой я слушаю шум
Воды и молчит мой ум.
Глаза свершают короткий закат,
Чтобы вернуться назад.

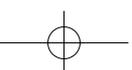
Я вижу холодные стены, дождю
Они подставляют мосла,
И трубы свои раскрывают жерла,
Расклеивая бордюры.

Лежит тротуар, как раздавленный крот,
Вода меж зубами решеток течет,
И только задумчивый «Аэрофлот»
Засыляет в небо ладью.

Я знаю окошек своих номера,
Но сам же не виден в них,
Дождь к утру постепенно стих
И земля осталась мокра.

Троллейбусов свора сбегалась на круг,
Слышен гудков унисон,
Я просыпаюсь, и я влюблен,
И я слышу размеренный стук

Капель, падающих из-за угла,
Я уже не знаю, что значит мгла,
Боже, позволь расправить крыла
И улететь на юг.



* * *

Светает — и, отара за отарой,
Трамваи узкобедрые пошли,
Включив предусмотрительные фары,
Бегут из недр вздыхающей земли.

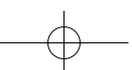
Понятно: белый пар от трехполосной трассы,
Безвременные фонарные столбы —
Все изготовилось. Покой шестого часа
Сменяет шевеление ходьбы.

И только летчик спит с открытыми глазами
На той необоримой вышине,
С которой каждый тут, проиозведенный нами,
Не более чем трещина в стене.



* * *

Шум в ушах не дает
мне спать, я встал и, убит,
леп. гайнственный флот
по векам моим бежит.
между яблоком и кожурой
вековой — пребешков
овчинки. Глаз приоткрой,
и он тотчас будет таков.
завернет простор по краям,
упадет на него ничком
и будет другим морям
подавать сигнал маячком.



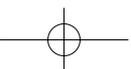
* * *

Маячок, маячит,
 мается, плачет.
 обозначает собой предел,
 который ничего не значит,
 за этим последним
 муторный горизонт ничего не прячет...
 стойкий туман: уже
 шесть, а он еще здесь.
 только по звездам можно судить
 о том, что время есть,
 ибо наши часы врут,
 у стрелок вполне произвольный маршрут,
 их толза в том, что по дробному тикку
 можно понять, что мы тут.
 и вот мы уже там,
 ступевав себя, как кальмар,
 затерев себя, как рапан,
 мы ловим внутри своего лабиринта
 услышанный в нем там-там,
 откликаясь на клацанье двери,
 на номерной значок,
 должно быть, нам хочется берега,
 хочется трав — и
 в этом мы правы,
 но маячок не вникает
 в психологию мореплава,
 он то расширит, то сузит
 пульсирующей зрачок —
 и молчок!



* * *

Свершается: ливнем триллионный дым
 в ноздри вползает и с дымом табачным
 мешается — первый в одно со вторым.
 и вот, убаюканный вьющимся дымом,
 я вновь обретаю себя неделимым
 и плотно спитаюсь с собою самим.
 и снова, и снова
 я время сбиваю в бесплодных потугах
 серое небо в холшовых покровках
 расслепить на узренное мною когда-то
 и это, которое здесь надо мною растято
 и корчится в муках.
 не будет, не будет —
 новое небо тебя не разлюбит,
 старое небо тебя не забудет,
 и все, что меж ними, что меньше чем надо,
 и что отзовется на это же имя,
 что каждому станет неожиданной наградой
 и каждого вечным страданием примет,
 что в сон прокрадется дымком голубым,
 а выйти — не выйдет, останется с ним.



ПРОЗА

ни для слова, ни глотка воды, ни для рта другого,
ни для молчания, в которое придет слово,
ни для молчания, из которого изойдет слово, —
только шум и удары тысячи жал о кожу.

1

То светло-зеленым, то темным брющком,
между которыми пустота,
лист охаживает ветер,
а тот уворачивается от листа,
и прячется под другой,
и перешептывается с корой:
укрой меня — и с хрустом
лопается под ногой.
деревья друг другу плечом в плечо
ударяются, путая ветви с ветвями,
словно страсают невидимых пчел
со своих волосатых рук.
деревья измучил тяжелей недуг,
изогнул в тугие железные дуги
и валит их набок,
но после из цепких холодных лапок
они переходят в надежные руки,
сложенные чашей, и ливень плещет
на тысяче глаз незрелых
и следы в затуманенную землю прячет.

2

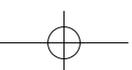
а мне достались шум и удары воздуха о колени,
только укусы огненных жал излучат мою усталость,
ядом своим целебным меня напотят
и антарной слюною, высосанной из растений,
в гроте моего тела прилетают лепить свои соты
и удаляются, завершив работу. —
а что мне с них, если во рту моем более нег места

* * *

Мя синевы, и желтка, и гранатовой красноты
 сделана кожа ребенка, болящегося темноты,
 каждый неожиданный звук оставляет на нем синяк,
 каждый неверный шаг.
 ночью коридор становится вавое длинней,
 и предметы прячутся под покрывала своих теней,
 и под невидимой дверью ниточкой свет горит,
 и плазок посреди двери.
 а железная ручка в руку ложится, как нож
 в ножны, и стоит ее отпустить — уже не найдешь
 дороги назад, останешься здесь, у ниточки золотой
 в квартире совсем пустой.

* * *

Встань на цыпочки, радость моя, поцелуй мою шю —
 ты меньше трехтоповальной яблони, ты тоньше
 мышинного шума,
 я приду, а ты обо мне не думай.
 Что думать о том, кто только тем и занят,
 что следит за твоими падающими глазами.
 Встань на цыпочки, радость моя, поцелуй мой губы.
 Что думать о том, у кого и так что в мыслях, то и
 на языке, что думать о том, кто не думает о твоём покое,
 кто сам тебе все, что знает, всегда расскажет, —
 ты выше дверной задвижки, ты тоньше паучьей пряжи.
 Стань на цыпочки, радость моя, поцелуй мой лоб —
 ты большая.



* * *

Под бледными огнями ламп двойных,
 неделями глядящихся друг в друга,
 лежат косые золотые дуги
 на темно-серых пледах шерстяных,
 двустальной кроватью пробовой
 накрыт паркет, под ним четырехдневный слой
 прозрачной чешуи, столзающей с предметов
 и собирающейся в сизые комы.
 Здесь жили мы когда-то, или мы
 здесь умерли, и наступило лето,
 и клош, вооружен крестовою резною,
 в коробке от конфет, оставленный, лежит,
 и за окном какой-то новый вид
 очерчивает даль полоской голубою,
 и чьи-то неизвестные тела
 незримо движутся в оставленном жилище,
 как будто нас там не было, и ищут
 потерянную вещь по ящикам стола.



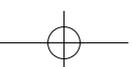
Старое кладбище

1

Здесь кладбище, прозрачное для зренья,
 но не для тел, ходов переплетенье
 в решетках и раздлетьях деревьев,
 и бледные созревшие растения
 сухое семя прячут в рукавах.
 Здесь низкие двуногие скамьи
 оставлены египетскою данью
 для мертвых, если изъявят желанье
 здесь преклонить конечности свои,
 и поздний львиный зев кривится, безъязыкий,
 на побелевшие фарфоровые лики,
 и струйкой со ствола стекают муравьи.

2

Здесь кладбище под снегом голубым,
 где человекий след перебивает птичий,
 а нас сюда привел нелепейший обычай
 визиты отдавать умершим, как живым.
 Куски гранита встали на дыбы,
 как суслики в степи, завидев незнакомца,
 на кушах бузины серебряное солнце
 подтапливает снежные столбы.
 И многие кресты, как в многоглавом храме,
 под ноги падают короткими тенями,
 а ум мой занят вычислением немых
 и чьиими-то чудными именами.



* * *

И никому не отнять у деревьев их голых рук,
и никому поднять их угавшие рукава,
словно полот в День великого торжества.

Только снег подойдет через день или два
тихо, как садовод, с ведерком и жидким беллом,
и замажет водою стылой корявые дерева.

Но и тогда никому не отнять ни рук их, ни ног,
по гранитной земле пробежит карамелькой ледок.
По дощатым стенам пробежит слюдяная улитка
и замерет, окруженная ветром с обеих сторон,
между точно таких же недвижных прозрачных окон,
а назавтра опять оживет и окажетя жидкой.

Только окна не тают, и никто не отнимет у них
твердость стекла под рыжей пеною тюля,
пузырчатые разводы, в которых на миг угонули
руки одних и впалые щеки других,
и обманную грязь, как будто на стенах соседних,
и листья каких-то неимовверных растений,
пускающих стрелы свои, когда наступает зима,
и способность невидными быть, если наступит тьма.

И глаза не тают, как жемчуг, вморозженный в лед,
как жемчуг, которого никто не отнимет,
и когда голова, и руки, и все тело уйдет,
то деревья, стекла и небо останутся с ними,
будут в своих ладонях вертеть многопалых,
как раньше вертелись сами,
будут шуршать обновившимися листьями.

Переславль — Сергиев Посад: автобус

Как за мелкой дрожью стекла
легко, почти без нажима,
лес рисует очертания рваного края,
пробегающего куда-то мимо,

как будто в детской игре, когда на краях блокнота
всегда одна и та же
галочка предается прерывистому полету.

и как прежде кровь изнутри ударила в висок
так теперь снаружи

та же мелкая дрожь по странице буквы размажет,
и слепит слово с другим, а другое на два расколлет,
и поэтому говорят, что в дороге читать не стоит.

а что же делать — не этим ли соннам, несущим в подоле
снег, который не проживет и недели,
посылать поклоны вдогонку — и этим елям,
под темными латами скрывшим свою коросту,
или смотреть, как травы невиданной высоты
выбрасывают в воздух изломанные зонты,
или шить, с облезшей за зиму кожей,
множат чьи-то задумчивые черты.

и на каждой странице книги, когда-то заложенной
этим взглядом через стекло, открытое паутинной
мелкой грязи, потом всплывает одно и то же:
лес, поле, матч, затянутые проводами,
картонные домики без заборов двумя рядами,
провал какой-нибудь речки шириною в ладонь,
которую мост задавиг прежде, чем она обмелеет
совсем, и кожаную петлю на шее
затягивает бензин и еще какад-то вонь.

МАРНАННА ГЕНДЕ

бензин всегда вызывал гошноту: когда-то мне нравился запах клея, керосина и ацетона, и ставить на шины велосипеда резиновые заплатки, и когда в коридоре были свалены пластмассовые канистры — но все это не важно, если автобус движется быстро. если гошнит, то нужно склонить голову набок и думать о чем-нибудь, что имеет приятный запах, лучше всего о ком-нибудь одушевленном.

а когда начинается город, то становится день чувствовать гошноту — начинается кирпичная кладка, и какие-то железные выпирающие колени, и бледные заплатки струдившихся таражей, и здания из более чем двух этажей, и вся арматура города, выставленная снаружи, потому что внутри никому не нужно смотреть на это великолетье,

как и на молочные и радужные дужки, и железные желоба, наложенные на шталы, будку сторожа, пригудливуюся при воротах, и все, что есть от Парижа в этих широтах, — а я смотрю и жалею, что не знаю для них имен. фабричные трубы на манер античных колонн вызывают к целому: в фабрике или заводе всегда мне чудилось что-то вроде руин, полупотрвавших с асимметрией, так из нелюбимых стихов мы выхватываем фрагменты, чем-то любимые нами, или другие, чем-то смешные нам, а о целом никто не знает.

а потом остановка в Сергиевом Посаде, и кто-то непременно войдет и сядет сзади, а это мне не по нраву, поэтому выхожу на мокрый воздух, закуривая сигарету и собираю остатки билета, разжеванного в горсти, чтобы опять зайти.

* * *

Нак школьник, фонарем вооруженный, под одеялом шерстяным зачитывается за бдением ночным каким-то чтеньем незаконным, как школьник, щупающий небо вязком, желая разбудить возможную ангину, я замышляю день, когда из мира стину, и черный хлеб мешаю с молоком, холодный ветер лепит из воды шершавую кору на бледном тротуаре, в сияющей воде мешаются янтарь и свинец, и надо всем — висячие сады из каменных цветов и черноты оконной, из электрического бдения витрин, и бледный свет, как очерк будущих рун, из тьмы вытаскивает узкие колонны, и краешек стены, обманчиво шершавый, и все, что кажется достойным права быть дальше, после ржавчины и тли, пришедшей электричеству на смену, как голый плещ, дерганувший стену на сторону земли.

ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ

* * *

Как каменный шар на скрещенье теней,
рожденных свечением многих огней,
становится арче и в весе теряет,
так слово себя самое повторяет,
в звучаньи теряя свое вещество,
и больше не может сказать ничего.

и хочется в память, как в камень змею,
запирать ненужную немощь свою,
как будто ребенок, и не бывший мною,
безмолвно стоит за моею спиною
и просит о чем-то ему рассказать,
о чем ему вовсе и незачем знать.

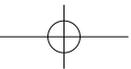
и гудкие трубы чертог созидают,
и в диком смешенье наземь опадают,
оставив звенеть металлический рой
лигавр, опьяненных своею игрой,
и память за каждым сорвавшимся звуком
встает, как утрюмая детская бука.

и то, что за словом уже не лежит,
из музыки снова перстами прозвизит,
как то, что из памяти делает своды
подземного хода, как то, что из соды
и газа творит неестественный вкус,
в котором я помню и помнить боюсь.
и долгие звуки, и вздорная ошуть
из позднего сна вопрошают и рошшут
о чьих-то духах, золотым коньяком

пролигтых над маленьким воротником,
о пьяной черешне и каменных грушах —
и стоит проснуться — все тише и глуше,
и никнет, зарезанный тонким лучом,
двойник, не успев рассказать ни о чем.

* * *

Не будет ли небо по-прежнему
 пустым, как кисель, молоком забеленный,
 и мы в нем увязнем, как в иле прибрежном,
 дагушачьим племенем населенном,
 и не прыгнет ли ласточка из-под наших
 ног, недовольно неся с собой
 мелкий дождь в неглубокой чаше?
 мы включим радио, будем слушать
 прогноз погоды на ближайшие дни:
 говорят, что влажность станет ниже,
 говорят, что завтра будет суше,
 хотя осадки не исключены.
 Посмотрим на улицу, как там снаружи —
 сегодня мы выйти в небо должны.
 и если прогноз оказался добротным,
 то воздух будет сольным и плотным
 и сможет нас удерживать на плаву.
 а если в прогнозе случилась ошибка,
 то небо окажется мягким и зыбким
 и утнет в свою синеву.



* * *

Липкой водою плачет цветок,
 выпустивший в небо слезу,
 а кто-то его утешает: я тебя увезу
 отсюда в теплые края,
 где такие же цветы, как ты,
 и такие животные, как я,
 у тебя все равно нет корней,
 ты живешь в жестянке,
 ты так и родился в ней.
 здесь, на подоконнике, тебе не место,
 будь моей невестой и подем со мной,
 там лошадь с длинной шеей и пятнистой спиной
 делает странные и красивые жесты,
 там большое небо, там вода в каждой впадине,
 там из каждой ссадины вырастает побег,
 там никогда не выпадает снег,
 там стебли оплетают каждый забытый
 предмет: приходишь, а его уже нет,
 а есть цветы какого-нибудь неизвестного цвета.
 они растут на глазах, они растут на коленях,
 каждый из них умеет разбрасывать тени,
 и все же там никогда не бывает темно,
 только ночью, когда солнце погружается на дно
 океана, а тот шипит и завывает,
 поэтому по ночам он не остывает,
 а напротив, становится горячей.
 там много теплых гейзеров, много холодных ключей
 и несколько вулканов, угрожающих извержением,
 которые делают из нас наше изображение,
 под слоем тепла скрытое от посторонних глаз.



* * *

■ прятать глупо, и не прятать еще глупее
руку в руке и пистолет в португусе
прятать, и слезы в протянутую плащаницу:
отнимешь от глаз — а гам глядит Вероника
и смеется: лица не прячут.

лица несут, как щиты, а другие лица
сокрушают щит и вырубают в нем
две впадины глаз, вытянутый проем
рта, из которого вываливается и хлещет
все, чем еще до нас называли вещи,
и не знаешь, к чему бы какое слово приладить,
на разложенные предметы смущенно глядя,
ибо между иными из них ни тени
сходства с словами, произносимыми всеми.
и рот рукой зажимаешь: не надо, не надо
говорить о том, чего еще нет перед нами,
и рот чужой зажимаешь своими губами.
потому что о том, чего нет, говорить не надо,
а на то, что есть, и сказанного достанет.



* * *

■ спит дитя, накрыв щекой разжатую руку,
словно к этому лбу никогда ни пади
не прибавит еще неведомая наука
или сказанное другими забавы ради.
спит и видит сон, как к нему подходит
ягненок или какое-нибудь другое
животное, и по ребрам его проводит
своей безрогую головою,
и в ладонь шершавую морду прячет.
а проснувшись, дитя не вспомнит, что это значит.

спи и ты, моя голова, и вы, руки, и вы,
ноги, впитавшие бурную кровь травы,
и жирный ил, и сухую глину,
от которых в маножье белая простыня
запечатлеет охоту на марморного коня,
а мстительное полотенно разрисует складками спину.
спи, правая ступня, спи, левая ступня,
спи, самая мелкая часть меня.
спи, простуда, усни, ангина,
молчите, последние хрипы в бронхах,
ум уснет, голова побежит влагой,
голова Горгоны, запрятанная в кошелке,
бессовестно подглядывает сквозь шелку.
а ей навстречу кто-то, перстом прозя,
отвечает: за снами шпионить нельзя,
они гудливы, как влюбленные
в затонувшем монастыре,
они удаляются на заре,
а у тех, кто ходят всю ночь бессонные,
они заскиживаются до полудня
(в будни это особенно неприятно).



и оставляют под глазами синие пятна,
и оставляют на щее вапшировые укусы.
а то ночам не спят только кошки и труссы:
они боются дня, любят электрический свет,
они зависят от движения разных планет,
у большинства из них довольно странные вкусы.
лучше спите, брови, спите, веки, спите, ресницы,
вам ничего не приснится, а за это ручаюсь,
вчерашний сон сегодня не повторится,
потому что так почти никогда не случается,
вчерашний день сложится, как бумажка,
в чашку, или кораблик, или прыгающую лягушку,
и ты удивисься тому, что ночью из прожитого
получается совсем на него не похожее
и то, что было внутри, становится кожей.

Сказки братьев Гримм

И не было ни одного среди всех
живущих, кто мог бы всевозь исповедовать мне свой грех,
говорит железная печка: не трехногому коту
исповедовать мне свою хромоту,
не одноглазому скворечнику на основном шесте
исповедоваться в своей слепоте,
тот, кто был гостиницей для перелетных
птиц, пастбищем для животных,
местилищем летюна —
ни один не карается по статье
известного мне закона.
ни девочка, бегущая в шкуре
тысячи лесных тварей,
ни тот, кто из ласточкиных перьев
целебное зелье варит,
ни тот, кто разговаривает на непонятном наречье,
не будет услышан железной печью.
то лукавый корольвич скрывается за заслонкой
и слушает, что-то ему расскажет
девчонка, вымазанная в саже.
то королева с пещариками в решете
за портьерой прячется в темноте:
только люди слушают, добровольно приняв
тяжесть ненаследованных ими прав,
а больше никто не будет
слушать того, кто сам себя неустанно судит.

2

Это умная Гретль точит ножи на бруске,
закавав рукав на одной руке,
а другой ополз на запястье.

что для одного несчастье, для другого еще большее
несчастье.

что для одного бесчестье, для другого еще хуже:

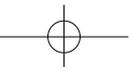
гость теряет покой, хозяин теряет ужин,
а умная Гретль ложится спать.

умной Гретль завтра рано вставать.

а мне не страшно, что кто-то придет по мою душу,
потому кто-то сбрасывает мне с вершинны башни
достигающие до земли косы.

потому корабли возвращаются
с грузом болтливых птиц, которые больно кусаются
и ругаются на всех языках,
на каких говорят матросы.

и кто-то пробирается в заповедный сад,
исполняя волю ребенка, что еще не родился,
и я отлускаю его назад
лишь с тем, чтобы он потом возвратился
и отдал того, кто, еще и не бывши, хочет
чего-то, что никто из знакомых ему не прочит.



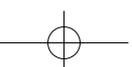
Сад

1

Весь жемчуг из чашечек, полных сплюны,
все камни, замерзшие в складках слюды,
извлечены из земли и воды,
и сказочно пуст тонкостенный сосуд,
как будто нас нет и не было тут,
и напрасно кремьень скребет о кресало,
но это неверно,
и газ истекает в назначенный срок,
но и это неверно,
плашет огонь, утаскающий мерно,
и скорый конец обещает начало.

2

два месяца назад
в великолепном палевом тниенье
весь сад стоял, и узкие чулки
обхватывали узкие колени,
и ветви друг у друга в волосах
искали, находили, и роняли,
и искали снова.
теперь, как и положено, стоят
костлявыми, их плоть в мешках и кадках
навалена в чудесном беспорядке,
а листья скрученные тают на земле
в разбавленной свеченьем подумгле.



3

весь сад обрушен внутри цветенья,
 все кости в тонкой пелене
 сухой коры просыпались наружу,
 все корни, в вязкой глине пополам
 с песком, округлость вынесли свою
 в холодный воздух, чтобы отраженьем
 своим в сплетенье кроны стать,
 чтобы внутри остался только пепел
 и шар, несомый ветром, пополам
 разрезавшим одну сплошную твердь
 на две неравных части, чтоб одна
 в другую молча палила свой глаз
 единственный, другая же стремилась
 свои ресницы от пустых глазниц
 вверх, чтобы пролилась вода,
 и их наполнила, и выпуклым покровом
 играла в радугу — и только для того,
 чтоб осень, высовав сначала синеву,
 затем отшелушив всю желтизну,
 опять ввела пьтсьот прозрачных ил
 и синеву, окрепшую на небе,
 вернула в виде твердых порошков
 и тоненьких чешуек — и, несутьяи,
 сидит, как перекордильный паук,
 чье брюхо ширится, а пасть не устаёт
 тянуться длинными губами
 к остаткам цвета — где ты, муравей,
 несущий в кучу невесомый хворост,
 из коего слагается весна.
 он спит в своих потожках под землей,
 и ни один до срока не родится,
 чтобы нарушить корку снета, чтобы
 из пламенного сердца оттянуть
 кусочек жидкой крови, чтобы землю
 от муки извержением избавить
 и сделать жерло там, где две плиты
 сцепили талды, образуя горы.

нет, мелкие, не требуют полады,
 готовы умереть, не прекращаясь
 в своем деленье, делаясь сильней,
 как мог бы ты, когда бы весь твой род
 не прекратился на твоих ногтях,
 а продолжался под землей, как мог бы
 продолжиться на небе, или ты
 сумел бы прекращаться каждый миг
 и воскресать, чтоб смерть слезивым веком
 огладила затялок, по спине

скользнула, после в подколенной ямке
 чуть задержалась и опять навверх
 взметнулась, чтобы память убегала
 и набегала вновь, чтоб мозг спинной
 взбегал по стерженьку, затем опять
 спускался прочь, чтоб ты не оставался
 между землей и небом ни на миг
 и забывал о всем, чего ты здесь достиг.

* * *

Та красота, что сквозь меня бежит
и утекает прочь, не мне принадлежит.
и все любимое не мной любимо,
а тем, кто сквозь меня речёт любовь незримо.

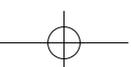
и есть другое, мертвое вино,
что в костном мозге вызревать обречено,
и в голову мою себе дарогу торит,
и каждому чужому слову вторит,
как будто бы оно ко мне и обо мне,
и повествует о моей вине.

и только дерзость растворяет вены,
и камень брошенный не ударяет в стену,
и пьявки черные стекаются к вискам,
когда одно из двух отступится смиренно.



* * *

Там, на земле, теперь разрешено
тепла на части разминать и тшпетно
искать того, что до сих пор запрещено,
и всякий плод трещит от вызревших семян —
там труд напрасный в утешенье дан,
но он отнимется на небесах, где каждый
ресницами пророс, не ведаю о том,
там наши дни сбиваются тургом
и открывают рыт: не оттого, что жаждут
блаженной торечи, а только оттого,
что ей полны, олять — не ведаю того.
и чашу гяжкую подносят
друг другу, и друг друга просят
в слетом величии принять
свою земную благодать,
но зря: им не свети ни губ, ни лбов,
меж ними крепнет мраморная чаша,
и ни один ее разрушить не готов.
затем, что стебель не восстанет на зерно,
и то, что было, остается нашим,
а то, что не было, стореть обречено.



* * *

Малооконный, многоколокольный,
линяет Переславль за рамою балконной.

еще стремится низкий стадион
футбольную возно прикрыть со всех сторон,

еще субботние венчальные сирены
мой поздний сон мутят тревогою военной,

но осень близится. она придет скорей,
чем нас разжалобит изжота батарей.

а там, под горкой, озеро Плещеево,
разгуливают лодки по спине его.

там рыбаки из тайной глубины
вытаскивают рыб невиданной длины.

там водоросли вперемешку с дрянью,
а между ними скользкие созданыя

в крученых домиках, а также и без них,
свисают вниз на ножках приставных.

на пляже городском, уже полупустом,
стоит автомобиль с разверстым животом,

а пассажиры разбредаются попарно
под механическое торканье ударных.

но солнце плющится, становится багровым
и кажется зайти уже вполне готовым,

тогда приходит ночь, как с самого начала
господним замыслам о мире отвечало.

лишь в бесфонарной тьме, в наколочке пегушьей
качается такси с притворным равнодушьем.

Ярославская набережная

Обзор с площадки смотровой:
в три ряда горбятся ступени
и тянут стрелчатые тени
своих хозяев за собой.

червообразный полуостров
уложен плиткой шестигранной,
и в виде губчатых наростов
на нем топорщится фонтаны.

река на реку насаждает,
крушенье терлит и впадает
в нее, и, мня потеряв,
лишается наследных прав.

в цветочной клуббе гербовой
лежит медведь-тородовой,
трясет кондигерской секирой
и раскисает, если сыро.

сегодня сухо. на часах
то тридцать два, то восемь двадцать.
на пляже пробуют купаться,
но высыхают на глазах.

из урны падает стаканчик,
ребенок летится к руке
и начинает деньги кланчить
на полуттичьем языке.

могай уныло головой,
не говоря ему ни слова.

пока, идя вперед спиной,
он не споткнется о другого,
тог денег даст и будет прав,
освобождая свой рукав.

* * *

Солнце в облаке кружится,
 растекается и снова
 в редком облаке кружится,
 а к закходу, словно клеши,
 разливается, и красным
 наливается, и жадно
 всякую цветную вещь
 ни за что лишает цвета.
 вещь не сердится на это,
 но, как маленький крючок,
 тень выбрасывает вбок.

Тень цепляется за тень.
 их упругое сплетенье
 образует просто темень,
 называемую ночь.

ночью каждая из них
 наступает на других,
 а предметы-невидимки
 ускользают от поимки.

попадаются — и замрут,
 словно двинуться не могут
 и всегда стояли тут.

а рука моя о стену
 ударяется — и снова
 ударяется — и снова
 ударяется, пока



не нашарит выключатель,
 не наступит на него
 и от глупой темноты
 не оставит ничего.

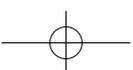
тут-то крючья и попрячут,
 но торчат из-под стола,
 и под дверями маячат,
 и у форточки открытой
 два сиреневых крыла.

молча плачет морозилка,
 тараканы облоочки,
 словно детские сорочки,
 на оконном сквозняке
 подлетают налетке.

комары дудят, дудят —
 и на форточке сидят —
 и опять дудят, пока
 не вопьются прямо в кожу
 у второго позвонка.

дернись — оба улетели,
 только тоненькие раны
 пляшут в уязвленном теле.
 пляшут мелкими ногами
 и расходятся кругами.

мне не страшно, мне не больно,
 только зуд и маета;
 лучше страх: придет, укусит,
 ползаает и уйдет;
 лучше боль: придет, измучит,
 примем горький цитрамон,



МАРИАННА ГЕЙДЕ

Поплазает и уйдет,
а неспящая усталость
мозг из косточки сосет.
Книги, книги вверх горбом:
отложу, возьму другую
и другую вверх горбом,
хлопнет в стену жук рогавый,
небо станет сероватым,
скоро утро, спать пойдем.

* * *

На восьмигранном барабане
смешная дубовка с кулак
на тонкой шейке в небо танет
торчащий жестяной колпак.

кирпич с оскоминой рябиной
отлично целостность хранит,
снаружи выглядит руиной,
внутри лишь окнами сквозит.

полуотмытый, на стене
лежит Сезанн или Мане,
но к сроку станет Илмей
под реставраторской рукой.

а дальше на манер колодца
промадный зависает свод,
под ним незваный голубь бьется
и в спину голубя клюет,

весь пол в помете и пуху,
а гнезда жмутся наверху,
там в колыбельках костяных
цыплята в пеленах двойных

сосуд нетвердым животом
желток, закрученный жгутом.



Федра

1
 Расин, Еврипид, Федра — ce sont les mots
 qui vont très bien ensemble, эти слова,
 которые повторять хорошо, как будто
 всегда идут друг за другом.

Расин, Еврипид, Федра стоит между ними,
 то одним, то многими раздраемая на части
 то за сценою, то на сцене, то перед нами, то после,
 и всегда умирает, всегда не с нами.

умирает, когда вы спите и поживаете,
 умирает, когда вы плачете, умирает,
 когда мы живем и кровь мешаем без сожаленья
 с вином и водою, только

о том сожалеем, что больше уже не будет,
 но и правда, больше не будет.



2
 Федра кротка, вывезенная контрабандой,
 тебя бы нужно играть травести и без грима,
 с возрожденческим животом и высиженной прической
 в виде гнезда над бездной.

без бледности известковой, без бликов на скулах,
 с колодезным холодом в растворенной шее,
 склонившуюся над своими двумя сыновьями
 с колокольчиком, сжатым в ладони.

как будто сейчас зазвенит и занавес снимут,
 стены расставят, выше поднимут стропила,
 потому что Тесей вернулся и все исчезло.

но не снимут занавес, стены стоять оставят,
 не тронут стропила и ничего не исчезнет,
 колокольчик не зазвенит, а Тесей вернется.

3
 Будь ты роком или случайной волей,
 или не волей вовсе, а только мгновенным
 совпаденьем частиц — не все ли равно мне, если
 от этого мне не легче.

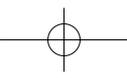
в голове моей щебечет мне и щекочет,
 а где ее выключают — никто не скажет,
 а если скажет, лучше бы помолчали,
 лучше совсем отрезать.

лучше сказать и отрезать, а может, лучше
 молчать и себя самого от тебя отрезать,
 лучше всего молчание, но молчанье
 долго слушать не станут.

с хронометром, как с партигурой, стоят и смотрят,
 чтобы на тридцать три распрямилась плечи,
 спина согнулась в поклоне и с головою
 скатилась на землю тяжестъ.

лучше из головы моей вылетит, лучше
 сам собой обернись, моя вековая слабость,
 лучше безумным быть, чем в своем безумье
 крестить известковый череп.

вылупись, мое праведное безумье,
 вылети, мое праведное безумье,
 вылети, чтобы остался один, без воли,
 без боли и сожаленья.



* * *

Море, поместившееся в окоем берегов,
 в которм до дна ни один ныряльщик не донырнет,
 а берега по локоть усыпаны играющими детьми,
 с плеч друг у друга совершающими полусекундный полет,
 зимой в нем прорубают поры
 вытаскивать рыб, зимой над ним меловые горы,
 а само оно не отстает от берега ни на шаг,
 зимой в него можно лечь и остаться так.
 утренние тени и утренний косой
 свет подтирают лиловые полосы огненной полосой,
 и издохшие полчища, стоит войти в сугроб,
 оставляют торжочие жала в моем сапоте,
 и торжичной сытью озноб бежит по щеке,
 и ветер заносит в мой глаз фальшивые слезы
 размологото солнца, сжигающегося в руке.

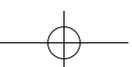


Гора мучеников

Пусть руку мою раскрошат, как воскресный хлеб,
 на двенадцать и две фаланги, из коих
 пять о пяти шипах, высеченных из кости,
 и пусть пребывает так, пока не придет покой и
 мой хлеб опять приворочится моей рукою.

ты, пальмовая ветвь в ладони,
 ладонь в ладони и пальмовая ветвь,
 сама себя свивающая в вервь,
 сама себя сгибающая в твердь,
 сама себя вжимающая в плоть,
 ты, колесо, раздирающее не меня, —
 раздирай сильней,
 ты, пальмовая ветвь, обратившись в плеть
 и будешь теть над моей спиной до скончания дней.

но вы будете, будете, а все равно меня не забудете,
 и ничего не забудете, потому что ничто не забудется
 и за вашими спинами будет — когда вы будете
 совсем другими, и сами себя разлюбите,
 и прибудитесь к старости с кроткими головами,
 а я и тогда останусь стоять за вами.



Вода

И столбавый жребий наш мы прижмем каленым железом,
 чтобы наши сто жизней нас не прожили вместе
 с нашим скарбом, и каждую клетку свою сомкнем в тугое
 кольцо,

чтобы не смели делиться и множиться, чтобы лицо твое
 навеки осталось твоим, беспрестанно вбирая
 все то, что могло быть чужим, но останется в тепле, стора.

Этот миг, которого ждали и ждали, не знай,
 что запечатанный день распечатан и час не предугнан
 и что нет на земле никого, кроме мертвых растений
 и костей, из которых слатается новый, неведомый остов
 корабля, что отчалил, когда над последней водою
 и над первой водою одно опрокинется небо,
 но никто не сумеет его отличить от воды.

ты, что падала в те времена,
 когда полагали, что дождь — это семя растений,
 ты, что падала и воспаряла к холодным горам,
 чтобы отбрасывать тени,
 про которые думали, будто из них
 составляются боги, —
 ты не думала и молчала.
 ты текла, пролагая дорогу, которой вернешься назад
 из сухих ледников, ты текла, превращаясь в стекло,
 покрывая собою себя, чтобы стать до последнего утра,
 чтобы утратить свою драгоценную твердость
 и у нас драгоценную твердость украссть.
 ты, что падала, дай тебе бог никогда не упасть.



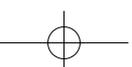
* * *

Носители языка никогда не рождали в мою бессмертную
 душу,
 и я никогда не рождался в чужой язык, ни во второй, ни
 в третий,
 внутри горла планешь — там корчатся три или четыре
 коротеньких язычка — изо рта не вынешь.
 носители языка гордо несут свое английское или
 французское брюхо, своих пацентов тянут
 за их языки, чтобы сами родились дважды,
 а те остались немymi, как рыбы или торнокасеты,

извлекали одни лишь несвязные вздохи и крики,
 помотали себе руками, корчили дикие рожи,
 а о том, на кого при этом похожи, — не знали.

хорошо человеку не иметь ни жены, ни речи,
 научили в детстве — говори, а не научили —
 будь счастлива так, как животное или ангел, —
 говорят носители языка в своей безумной гордыне.

а вырвут им языки — так горько заплачут
 потому что ни ангелом быть не хотят, ни зверем.
 потому что на зверя охотятся, а о том, что
 не станут ангелами, — это уж они знают.



* * *

Так в разверстом богородичном животе
поднимается младенец, не ведающий о кресте,
поднимается целый и вполне готовый
и изрекает в воздух руками слово.

Плухонемая азбука молчаливых икон
перстами ног и перстами рук наступают со всех сторон
в храме, где никогда не зазвучит орган
и которому только колокол и собственный голос дан.

как наживка, насаженная на крючок,
извивается свечечный отонек,
фыркает, сплевывает вниз парафин,
струйка дыма трепещет и отклоняется вбок.

и в скруплении потолка деревом ветвями вниз
многопалый светильник электрическим телом завис
и каждой зрячей ладонью глядит, как вниз головой
сонмы праведников свершают путь неподвижный свой.



Обручение святой Катерины Александрийской

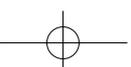
Без неба и без занавесей — с одной
стеной, вставленной в оконный проем,
с другой стеной, свернувшейся вокруг меня,
и арку круглую выгнувшей надо мной,
и скользкий пол размазавшей подо мной, —
как мне здесь жить одной, — так жалуетса улитка,
чувствуя, что приближается послеполуденный зной.

а влагу летучую удержажать как —
засыхает слизняк, растоптаннный на листе,
и умирает в своей бессмысленной красоте,
не так на кресте из тонких ран на ногах
убегает сангина, превращаясь в кирпичный прах,
потому что утро умерло, приближается зной.

Катерина Александрийская стала святой женой.
солнце вытало золотым жгутом, в двойной обруч забрав
голову и руку, покинувшую рукав.
младенец, воскрешший в теле, пропустовавшем три дня,
внемлет ее молчанью, свое молчанье храня, —
что я сделала, господи, что ты меня полюбил.

раскрутит улитка твердь своего скелета,
растечется в своем увечье,
ты молчишь, потому что ты речь, не требующая ответа,
я молчу, потому что речь гечет предо мной,
Катерина Александрийская никогда не спросила об этом —
что с ней станет, когда она станет святой женой.

скрутит сторож свой факел из мусора и смолы,
раздавит бедное тело свои неровности и углы,
заставят меня раздать немилущим суставы и позвонки



МАРНАННА ГЕНДЕ

и отпустят огненную мою работу разбрасывать вверх зрачки —
потому что она и тогда не захочет отнять руки.
бегги, ломайся, крепкий кремниевый покров,
крадись, скудная кровь из-под моих ногтей,
наилучшая из смертей пропекает внутри меня,
пусть убивает, пока я к тебе готов.
сколькими солнцами выжжешь воду внутри меня,
чтобы она растеклась, своей бледный багрец храня, —
бледный моллоск остывает от красноты,
выпитый белым зноем растрескавшегося дня, —
что я сделал, господи, что ты меня полюбил.

* * *

■ что сворачивает пласты не добытых никем пород,
не названных никем насекомых кто за крылья берет
и отпускает, не оставив клейма, —
кто видит город, когда его погребает тьма.
погружим ладони в детярную жирную грязь —
и там маленькая анаконда, что спит
в подушечках пальцев, не изменит свой вид,
как кроет, прорывая свой лаз, чувствует лбом и спиной
свое направление, как птица, пляшущая ни для кого,
чертит невозвратность движения своего
каждой следующей весной,
и в прозрачных чешуйках, невыслеженная, дрожит
вся латиница, и с ней весь греческий алфавит, —
внемли тому, что вовеки не скажется ими,
и, брошенная кем-то, в небе земля лежит,
ожидая всякого, кто поднимет.

кто видит меня, когда никто меня не видит,
когда я сплю — никто меня не разбудит,
когда я проснусь — никто меня не полюбит,
а когда умру — никто не осудит,
буду бодрствовать стоя, буду бодрствовать сидя,
когда усну — буду бодрствовать лежа,
потому что даже во сне мне никто не поможет
и даже в смерти никто меня не погубит.

тот, кто выдалбливал мне глазницы, напоял своею слюной,
добавлял свинец в раскаленную соду, смешанную с песком,
и опускал на дно, — он не советовался со мной,
а спросил бы — я в каждую межреберную борозду,
в каждую впадину испросил бы себе глаза,
и не знал бы, в какую сторону иду, и не знал,

М А Р И А Н Н А Г Е Й Д Е

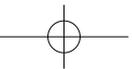
что впереди меня и что позади,
чтобы весь горизонт извернулся в моей груди, —

а он, кто выдалбливал мне глазницы и в рот мой вкладывал
речь,
он знал, как меня устроить и как меня уберечь,
чтобы я оставался твердым, как меч, и непрозрачным, как
меч.

из каждого растения, из каждого гейзера в кипящей долине
я вынимал название, которое вынет прочь мою душу
и делает так, чтобы огненные ты пребывал со мною.

каждого встречного мне хотелось вывернуть наизнанку —
вдурь ты в нем и, выйдя наружу, со мной пребудешь,
каждый камень мне хотелось разбить о камень —
вдурь в одном из ты свернулся желтком и глядишь из
трещин.

а потом мне стало спокойно, совсем спокойно,
потому что ты знал, как сделать мой голод вечным,
как мне исполнить себя глазами и как исполнить
все, чего невозможно потребовать от другого.



* * *

Маленькими мышками разбегаются лица,
чтобы потом себжаться,

где те глаза, вложенные в плазницы,
и те зубы, отученные кусаться,
где след от движущейся точки,
что движется спишкой.

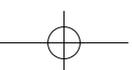
маленький детеныш не сумеет собрать кусочки
зеркала своим захудалым умишком,
дайте ему вырезанные из бумаги
или отлитые из пластмассы
фигурки, которые плотно друг в друга лягут.

дайте ему сложить слово «вечность» и подлечь полмира
и пару коньков в придачу,
чтобы продрогшая Герда свои горячие слезы в его рот
уронила.

дайте ему приложить к своему стеклянному глазу
раскаленный медяк,
чтобы видеть то, что внутри и снаружи разом,
дайте ему все, что он просит, и пусть будет так.

вырубленные во льду, все в римских свечах,
скользкие до полного сплинья,
выстроены чертоги на его непрямых плечах.
растают — так станут кровью и молоком,
а выстоят — останутся на скрижалях
неогнатым знаком, скругленным морским коньком,
давно утраченным языком.

маленькая Герда пустила пыль по воде
свои красные башмаки.



ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ

МАРНАННА ГЕЙДЕ

маленькая Герда исследует запертые
и сверху написанные значки,
силась найти один, которого нет нигде, —
розу, сделанную из квадратов,
вставленных один в другой,
розу, которая есть, или хотя бы
розу, которой нет,
маленькая Герда силится вспомнить, что она позабыла,
и не может найти ответ.

кто ты и зачем ты стер все розы мира,
и зачем они каждую ночь возникают в моей голове
и каждое утро мира стираются снова.
кто ты, и зачем ты сделал все утра мира,
если каждым из них я давился, как сырой водой,
в скрытых розах ты прячешь лик заповеданный свой.

кто ты, сделавший меня таким холодным и таким горячим,
я не стерплю и тресну по швам,
кто ты, шивший меня из животного и пустоты,
я ведь тресну, а ведь умру и не воскресну,
а все, чего я хочу, господи, это ты.

маленькая Герда, маленькая-маленькая Герда,
ты полюбишь меня и живым и мертвым,
ты поднимешь меня и сложишь, как оно было,
ты поставишь меня и вложишь в мой рот мое имя,
и накормишь меня крошечком из безголового хлеба,
и накормишь меня крошечком из безглазых рыб,
напостишь меня своей кровью и накроешь своею генью,
и не оставишь меня во все мое воскресенье.

* * *

Так внутри глины целой, надавливая слегка,
гончар отпускает сведенные пальцы, пока
не образует вмятину, а после разводит, пока
пустота внутри не достигнет размера задуманного горшка.

так нога мерно и мерно ступет вперед и назад,
а затем взлетает, потому что скорость и так велика.

так сжимает горлышко, чтобы стало уже,
и острый нож прижимает к ножке, чтобы стала ровней,
так смачивает ладонь водой и отлаживает наружку,
а после шутит, подрезав донце струной.

а после, боже мой, что после станет со мной —
могла бы подумать, если могла бы думать
чашка, ожидающая свой страшный суд,
потому что ее ставят в печь и на ночь запрут,
и двести, триста, четыреста градусов выставляют на тало, а
вплоть до градуса, при котором плавится стекло,
до градуса, при котором плоть превращается в прах.

ты ведь прахом была, и больше, чем прахом, тебе не быть,
сказал бы чашке гончар, если бы мог говорить.

* * *

Прощка Цахес, скрюченное полено в моем глазу,
все, что дорого, выхватывающий из моих рук,
каким слезотворным газом заставит меня рыдать,
чтобы истек наружу мой зеркальный недуг,
босоногога Герда, каким иноземным вином
опомли меня и отравили в плаванье, чтобы забыть
обо всем, что любил, обо всем, что хотел полюбить.

в северных землях, где из груди добывают сердца
и засыпают в лаза песок, молоко и стекло,
в северных землях, где дочь за отца не идет
и, тока не свело, убегает, в скорлупке своей
унося вечернее платье и рай в дуге прозровой,
в северных землях, где темно через бычий пучок,
вылennyй, мается царь обескровленных рыб,
лапландка в распаренной комнате Герде дает наштавырь,
отвердевая, таит одежда и все, что под ней, —
и кровь рассыпается в пыль, и плененная в клетках вода
превращается в души животных, лишенных костей,
и соленая смерть пронизает невызревший хлеб.



Вид в окно

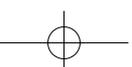
Комнатные растения:
кроткими будем, бушевать не будем,
как ветер, вскрывающий острожно
скошенной башней Таплина бледное небо,
бушевать не будем, как спутник, сужающий
свое движение над станцией «ВНХ».

кроткими будем, в бурю скрипеть зубами не будем,
в блудо стлывывать косточки будем,
с пола складывать снова туда, куда надо, будем.

кроткими будем, крестче абрикосовых сердцевин,
крестче трещеской скорлупы,
скрупулезно камушки вынимать из-под стопы
у себя, бревнышки из лаза друг у друга,
спрашивать будем: в каком глазу у меня звенит,
в каком ухе у меня хрусталь;
краткими будем, как дровосеки, ударами топоров
рассекающие кору, потом древесину, потом
до середины, и снова — сперва древесину, а после кору.

хрупкими будем, как будто скоро, и кресткими будем
как будто бы никогда, а умрем или нет — посмогнем.

Солоса из-под стола:
а вот и да, а вот и выскочим,
а вот и выпрыгнем, полетят ключки по закоулочкам,
уколем под коленку, свет выключим,
догоним и замучим.
вот, выглюченное из лампочки на двести пятьдесят,
подыхает электричество,
а вот с пылью всклокоченной



расширяется вентиляционное отверстие,
чтобы такого вот впустить в каждую клеточку
членистоногого, насекомого,
вот выщербим где тонко и высосем сердце, печень
и селезенку,

выкусим изо рта язык, перепонки из ушей,
все двенадцать перстов намотаем на свои двенадцать,
потом выплюнем легкие и пойдем дальше.

Комнатные растения:

шпи, тише, ничто так не страшно
как шепот, когда тихо, и тишина, когда шумно,
мы их не слушаем, мы будем умными,
смотреть в окошко из-под шторки
в сеточку,
смотреть на ветку, с которой сипают капельки
вчерашнего дождя мы будем.

завтра будем весь день делать себя из света,
кислород выдыхать будем, это завтра,
а сегодня стать будем,
в маленькие шарики вдувать будем
наши завтрашние цветы.

Голоса из-под шкафа:
Гыбы, гыбы.

после Москвы

1

апрель: казалось — отрезные крыши,
несезонные распродажи меха и кожи
по сниженным ценам — ан нет,
ничего похожего:
холодно, гололедно, лядко,
у меня потерялась правая перчатка,
потом отвалилась правая рука,
я согрелась кофе с водкой,
потом догонялся водкой с молоком,
потом позвончик оказался кием
и ударил в колено, а после в другое,
пока я старался втереть
утраченное осознанье
в правую руку левой рукою

2

и в полночь на край столицы
увез меня длинный-длинный
московский подземный поезд,

выныривая в огни и
заныривая обратно,
сплетал из серых волокон
тоннель за рядами окон
прерывистый путь канатный

3

из меня, израненного, из жертвы
преждевременного семействования,

изъяли и настояли на липовой горечи
жжение, сбражившееся в виде речи,
и ничего человеческого во мне не осталось,
и оставили меня плыть в небо,
ледея свою усталость

4

утро зарокотало моторами,
утро тормозами заскрежетало за шторами,
сон, сон, сними с меня ломоту,
сон, сон, смени меня на посту,
устал я, уста свои надо мной разомкни,
устал я, уста свои за мною сомкни
и насовсем усни.

5

сибила, дети спрашивают, ті гэдзі^{4*},
а она в ответ: *στοβαλεiv τείω^{4*}*,
карлику, выращенному в кувшине,
спрятать некуда выпарщенное тело
и не в кого крикнуть голосом петушиным:
и меня, и меня тоже.
а молот ему не поможет,
молот нежно наклонится,
скорлупку хрупнет и сам схоронится,
под фансовым крошевом не схоронит.
господи, из-под какого камня
ты извлек на свет свой
мое уродство, дай мне
знать, кто отец мой,
кто мать моя, вмявшая в свой живот
пояс, оставивший мне в наследство
мое уродство,

* Чего ты хочешь? (*зреч.*)

** Умереть хочу (*зреч.*)

господи, дай мне знак, на кого мне

свалить вину за свое убожество,
господи, я ничего не помню,
а они надо мной смеются,
спрашивают, кто мать моя, кто отец мне,
и плюют в мою плоть, и протягивают полотенце.
не испод ли души моей на лицо мне
вывернул — господи, я и о том не помню,
помню, отвятый от груди, поруженный в глину,
вглядывался в голый над головою
диск солнца, а после мне изогнули спину
и позвонков навеки сместили диски,
и укрыли меня фарфоровою корою,
и потом я больше не разгибался, *dixi*.

6

выколотые на лбу, наливаются гневом
буквы, отчитывающие меня от неба,
а боль была больше ливер,
боль была больше лба, но я ее вытерпел,
палач подошел, и вытер
соль глаз, соль ран, соль висков,
и не сказал мне, каков я теперь.
только ветер морской, заботливый йод,
легкой болью прожжет мою кожу,
вину мне и имя мое назовет,
и гладкую гальку под спину подложит,
и мутной волною меня приберет,
и лишнюю ливеру с кожи сотрет.

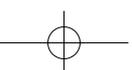
* * *

Геральдическим талом с хвостом раздвоенным
 складывай свои кольца под ноги
 полуконя, полувоня,
 восклевещут вздорные воробы,
 разрешившейся битвы склевывая послед,
 что ты разрушен, что тебе в растворенные уши
 жидкое слово, как олово, влили,
 и вечную горечь твою утолили,
 и двуострый язык удалили из тулкой горгана,
 и оставили гнить наконечник копы в развороченной ране.
 и вдруг пролитой челочью в грудь твою восшебечет
 незнакомая речь, страшнее твоей раздвоенной речи:
 — Тойдем со мной, и смерти не будет, хочешь,
 со мной пребудешь и раны свои залечишь,
 раньше ты был ловцом лишь тел человеческих,
 ныне станешь жнецом душ человеческих, хочешь?
 и прижмет тебя к воздуху, ставшему вдруг
 неподвижным и плотным,
 и утянет на небо, к своим небывалым животным.



* * *

О круглым клавишам полуразрушенной оливетти,
 по оружейной гажести в сравнительно мирном предмете
 пальцами вспомнишь маленьких танцовщиц свиццовых
 с копытцами, несущими крошечные подковы,
 согнутые ноги выкидывающих в канкане,
 знаками трепинанья бумагу навьлет рани,
 вспомнишь себя довольным своей молодой водянкой
 на указательных пальцах, вывернутый наизнанку
 учебник, наставлявший тебя в слепоте добровольной,
 набор бессмысленных слов, мнемоническую горячку
 вспомнишь, ослепнешь, снова вернешься к зрячим.



* * *

Норалловые колонии, выстаивающие остов, к двадцати пяти годам почти вымирают, после себя оставляя почти скелет, на котором после невидимые ткачи непрерывно латают ткани вплоть до того момента, когда их станет влажная гниль и меня наконец не станет.

Укладчики моза в черепные коробки вначале стивают трос, податливый и подвижный, затем в искривленных его пролагают тротки, вкладывают на дно, прилаживают как нужно и сверху смыкают створки.

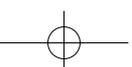
Стеклодувы легких по шажку отпускатют дыханье, садоводы кишечных полостей высаживают растения, прядильщики нервов смачивают споную нити свои, обрывают и снова тянут, и все они были землею, а стали мною, а когда не станет меня, то снова землею станут.



Асфодели

1 Раскрою кожного покрова внутри беременного чрева с утра до ночи занята слепых закройщиков чета. приложит метр, другой прочертит, но так, чтоб не поранить кожу, лицо, которое похоже на два исходных, и к тому же немного от себя добавит, а после вплоть до самой смерти расти и стариться прикажут и снова в плаванье отправят. на ощупь движется игла и забежит под ноготок, и брызнет теплая стрела на недокроенный кусок, чтоб в срок раскрыться, и разрыть меж ребер потаенный ход и смерть неслышную вгустить в желудок или в пищевод. швея нащупает, находит, пятно невольное выводит, берет иглу и снова шьет.

2 сирены трубу водопроводных журчат негромкий разговор вливной бачок, упали напор холодной воды и крошечный плевок



МАРНАННА ГЕЙДЕ

в ладонь протянутую лег,
лизни ладонь и ладно.
внутри усохший солитер
погребует дальнейших мер,
его укропом не обманешь
и валерьяной не заморишь,
слюны отравленная горечь
до боли вырастает за ночь,
он в печень твердую вползет,
за край последнего ребра
ее опустит и прызет
почти до самого утра,
бодается в пустом желудке
с началом язвенной болезни,
по легким распускает слизней,
в сосудах склеивает складки,
калечит клетки и в зубах
размалывает ядра в прах.

* * *

Вот и выговорилось в недооценной
половине моего мозга слово: я ранен,
перепитрал свою память,
как руку на фортепьяне,
и смотрю, какая она жалка, зажеванная
и выблеванная, словно пленка исторченной магнитоной,
больше ничего не стоит
войти в мою голову
любому слову.
мне снился ужасный сон
о том, что мне двадцать семь,
то есть год в этом городе идет за пять,
ночью боюсь засыпать,
боюсь мечтать, получать почту,
промечтаю — не сбудется,
получу — не обрадуюсь,
боюсь понижать градус.
думаю о тебе даже чаще, чем о себе,
что много,
чувствую себя рабом, повешенным на столбе
то левую сторону от бога,
с мыльным ртом, с провалившимся языком,
с первым плотком
воздуха, сгороненным под плеврой,
наверное, это нервы,
наверное, всё, что вы скажете, верно,
а мне все равно,
мне уже не станет хуже:
воздух, сгороненный под плеврой,
давно
хочет наружу.

ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ

* * *

■ Пусть ярость незаконнорожденная
 закипит, остынет и отстонет,
 сегодня нужно быть осторожным,
 ни на кого не сердиться.
 Дождик, дождик, весь такой маленький
 с утра по зонтам постреливает вяло,
 внутричерепное давление
 подскочило до пяти атмосфер
 и снова упало.

Ты — небо, ты — в моей голове, ты жмешься к корке
 мозга, прозишь кровоизлиянием и комой,
 но когда я схохну и окажусь в каком-нибудь морге,
 то увижу, что это бывает несколько по-другому.
 Ложь, ложь, дживо каждое мое слово,
 как нож, занесенный даревичем-малолеткой
 в смешном бессилье припадка очередного
 над своею трудною клеткой.



Лед

1
 В гранит, крапленый одинаковым узором,
 меня олень, в фальшивый завиток
 язык спирально запусти,
 достать меня из немой кости
 и отпусти.

на скором поезде, без останков между
 началом и концом, как будто я и впрямь
 не стану вором
 и с сатаной не буду пополам
 делить свой мозг, не назову своею
 свою болезнь, но прошепчу в ее истод:
 болезнь моя, не я тобой болею,
 ты мной преобразилась в плод,
 на скором поезде, в хвосте у змея,
 в вагоне-ресторане, в сквозниках
 в конце пути я околено
 и стану воском, стынущим в руках,
 все тверже, тверже, выпрямляясь под
 давлением воды, преображенной в лед.

2
 но что-то, что не жалко и огдать,
 на лбу и на руках постывшая печать,
 и хочется кричать, когда ее приложат,
 и новая младенческая кожа
 бежит поверху, выдавливая гной,
 когда не знаешь, господи, кого же
 из нас двоих теперь вы назовете мной,
 я буду пустотой, а ты — моей тюрьмой,
 и тшгтно в будку впихивать напильник,



из мякиша напотодам с спюной
растет Сатрада танцирь прятшпильный,
растет себя уже не вверх, но под
поверхностью земли, и в тесноте могильной
гнилую плоть преображает в мед.

Решное

!
Не мешайте седатике с алкоголем,
не мешайте седатике с алкоголем,
не мешайте их никогда!

на свете счастья нет, но есть покой и воля,
покой и воля, да!

но вертолет, вертолет, мать-отвертка, отнеси меня
на гребешки поддельных гор, о которых мы спорили,
горы это или облака,

а человек по имени

Иван Петров сказал, что озеро — это фальшивое море, и
из вежливости промолчал о том, что мы — два гребаных

мудака.

А фрекен Хвельдан смотрит в окошко, под амальгамой
электричества, так, что оно превращается в зеркальце,
звонок. Кто говорит? Мама?

Мама, ваш сын понял, что все-таки она вергится,
он очень, очень болен и сам не знает, откуда взялась эта боль,
наверное, это черный-черный человек уселся ему на

мизинец,

мама, мама, почему ты не сделала аборт?

я бы тогда поплыл себе, как Моисей в корзине,
мама, я всегда считал, что центонная поэзия моветон,
а вот теперь пишу, как — впрочем, о живых аут бене,

аут нихиль, поэтому не будем называть имен,
тем более что их носители и так на измене,

а впрочем, вот одно: моего отца звали Марк Эмианулович
со всеми вытекающими отсюда последствиями,

мне хотелось, чтобы у меня нашли туберкулез, это в детстве,
а в юности — чтобы ВИЧ,

мне нравилось называть себя женскими именами и
перед зеркалом ретегировать восстание мас,
в школе я уклонялся от лобызания знамени

МАРНАННА ГЕЙДЕ

и сам не знаю, как перешел в шестой класс,
дети, впрочем, меня не жаловали и называли не
иначе, как «жидовская морда» или «пидаррас»,
в обоих случаях были правы. Я маялся в школе,
потом сбегал к тете жаловаться, как я несчастен,
а она мне говорила: на свете счастья нет, но есть
покой и воля,

впрочем, потом оказалось, как это часто
бывает со словами великих поэтов,
что счастье как раз бывает, но быстро кончается,
а вот никакого покоя все нет и нет,
и воли нет, учитывая, в чем она у меня заключается,
словом, не мешайте седатике с алкоголем,
не мешайте счастью,
не нарушайте покой,
не извляйте волю,
опушайте боль.

2

я этим августом не съездил в Кенит,
а мне хотелось,
у меня почти не осталось тела,
я почти алкоголик.
я прихожу куда-то, а меня тонят,
я бросаюсь на каждого, кто меня тронет,
я, как правило, бываю неправильно понят.
месяц становится лунной, мать становится змеей,
отец требует то двести грамм, то девять,
ребенок берет свою голову и не знает, что с ней делать,
мать становится шаром, а отец — землей.

во вторник ничего не случится, в среду будет потоп,
в четверг — рыба, в пятницу — божий дар,
голова перестает быть мозгом и превращается в шар,
подвешенный под давленьем, не лопнул чтоб.
любимая моя, мы подвели кошек,
выпили воду из сливного бачка,
любимая моя, а может,

ВРЕМЯ ОПЫЛЕНИЯ ВЕЩЕЙ

все это славахахристу
приснилось,
может быть, я действительно не преступник
и мои действия не попадают под статью УК,
падающего полкни,
омой мои ноги мылом,
под ними не земля, скамья от силы,
подними меня, спаси и помилуй,
подмени меня, и я уйду себе с миром,
любимая, вынь из меня мою гниль,
любимая, вынь из меня жилицы,
выблной мою любовь, выбели меня мелом,
ребенок берет свое тело и не знает, что с ним делать,
он несет его осторожно, еле колбеля,
любимая, любви меня, не любви меня,
а лучше разлей и убей,
называй своим именем
и не жаль меня, а пожалей,
как жалешь свое ушибленное колено.

3 (ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН)

голова, обмазанная глиной,
мозги в чане, спираль в пустом чайнике,
сегодня я звонил Инне,
обрадовав ее тем самым чрезвычайяно.
у меня просто подход телефон,
а уж она испугалась, что подох я,
а нахуя мне, спрашивается, телефон?
все равно восьмерка блокирована, так что никакхуя.
но ты, гейде, матюгаешься-то ладно,
а то еще подумают чего-нечто,
какая сегодня погода была!
жаль что ее не увидит никто.
а какая погода?
а такая погода,
как в праздник и я выходил без талыго,
как следствие — чихаю и лихорадка на губе,
да еще нарыв на десне постукивает клювиком,

МАРНАННА ГЕНДЕ

тем не менее спасибо господи, Тебе.
а что, Вы меня правда любите?
Господи, я-то уж думал, что Ты умер,
а Ты так просто вышел покурить,
вот я пойду на АТС, назову свой номер,
мне починят телефон, и буду говорить:
здравствуйте, здравствуйте, как ваши занятия,
что это вы делали прошлым летом,
а я вот чего вам хотел сказать-то,
я возьму и завтра приеду.
ласточка-ласточка, маленькая ласточка,
подлети сюда и вынь мне глаз,
отнеси его какой-нибудь хорошей девочке или мальчику,
им так холодно и голодно, у них отключили газ.
ласточка-ласточка, маленькая ласточка,
подлети сюда и вынь мне язык,
они немые и не могут разговаривать,
а я все равно отвык.
а с меня листик за листиком слезит,
у меня сердце оловянное,
ласточка, зачем мне мои два глаза,
kiss my lips, little swallow, for I love you.
на озере лодочки плавают снулые,
в небе металлическом ударили в набат,
слово «лимон» мне сводит скулы,
но от слова «сладко» не делается сладко,
а почему так, а почему так?
серый-серый селезень трется о волну,
чаечка в небе повизгивает жутко,
не видать у озера другую сторону.
это все, так сказать, метеорология,
а скоро-скоро заморозки, тогда я в лед вмерзну,
и с картонным номером на каменной ноге я
долго-долго пролежу в море неопознанный.
но только Ты ведь, Господи, меня не оставишь,
веки мне подклеишь, подвяжешь челность,
и я воскресну, весной или как скажешь,
если осмелюсь.

О противоборстве неба верхнего и неба нижнего

Подснежный, подкожный, снова просыпается
диск, которого на земле никто не
увидит, ибо ниже небо падает
грязенькими тучками, а над ними тонет

верхнее небо, холодное, широкоглазое,
от которого в горле влага шевелится,
и солнце, выкатывающееся разом,
как велосипедное колесо и Велес.

и только четверть часа через

отхлынут околотишные воды ливня
и земля, лиловая и визгучая,
выродится, вся в ошметках туч, и
солнцу протянется: возьми, возьми меня,

покатай, как яблочко по серебряному блюдечку,
покатай, как голове пророка Иоканаана,
а солнце не смотрит на то, как она
вертится, никому не нужная, убогодичная,

солнцу плохо, его рвет гелием,
оно почти уже хвост кометы...

...нам казалось, что там, в верхнем небе, все прочно сделано,
что звезды — спокойные бесмертные предметы,

что под лунной ничто не, а над — все вечно,
любовь там солнце и светила движет,
и вдруг оно ближе, ближе,
и планеты разлетаются, поруганные, увечные,
как бильiardные шары ударяются друг в друга,

МАРШАННА ГЕЙДЕ

как бильярдные шары забегают в лузы
и больше никогда не встречаются в пространстве,
а мы-то думали — в верхнем небе все будет серьезно,
а мы-то думали — в верхнем небе мы вечно странствуем,
головами в него торча из тела...
а солнце вдруг само в себя плюнуло, зашипело,
как бешеная свеча,
и исчезло.
и всё, и ничья.

* * *

■ очами распускается ткань, отрастает печень,
но вечность не народится сама собой.
Пенелопа бросает станок и зажигает свечи,
Прометей опять на свободе, его ожидает бой.

его брат оборачивается, говорит: стой.

поздно: задним умом крепко,
от всего, что не будет отмечено пустотой,
остается его неизменный слепок,
безукоризненный и слепой.

волокну обрывается, поздно спяноно смачивать палец,
я опять скиталец, ты мне сестра или дочь?
Пенелопа бросает станок и на пол валится,
Одиссей бросается ей помочь.

полночь: в ожидании завтра, а может —
кто может знать, может быть, в год назад.
Пенелопа ложится во взросшее в землю ложе,
но не может вспомнить твой запах.

полдень: гораздо скромнее, пробужденье после попойки
в не помню какой не то что недели, месяца даже
день — не стоит времени доверять настолько,
время бесмысленно вертится перед стойкой,
волокну обрывается, время связывать пряжу.

сестра или дочь, раздели со мною мою обузу,
я не знаю, кто ты, но я помню, как тебя звать,
кованая застежка скрывает вздувшийся узел,
я не знаю, ты мне сестра или мать,

брат оборачивается, говоря: плевать.

Плаваньё — хорошее средство от памяти,
я хочу тебя смять, расправить и не узнать.

Плаваньё, сплевыванье своего наземного веса,
теперь мы почти как птицы, как рыбы то бишь,
я не знал, что ты моя мать, когда ты была моею невестой,
но когда я слеп, то что мне память моя и совесть,

потому что мой долг попашен, погост намечен,
Эдип и его сестра подходят к Колонне.

но хотя ночами расстусается ткань, отрастают печень —
днем я помню.

* * *

Пользователи ноосферы, пьянствуя с Носферату,
откупоривайте мое горло и будьте прокляты,
но только аккуратно, аккуратно,
чтобы на пол не пролилось столько-то,
но только быстро, быстро,
со скоростью выстрела из нарезного ствола,
в следующий раз я не встану из-под стола,
море выкидывает белый парус на пристани,
шторопор вскидывает стальные крыла,
вода лежала-лежала и отошла,
сумчатое, залазь в кармашек,
крошка Ру спрашивает:
мама, зачем ты так рано меня родила?
я встолзаю на Эверест твоего живота,
я встолзаю, а сумка у тебя заперта,
а мама мертва и не отвечает ему ни черта.

* * *

Поезда Переславского метрополитена
 ровно в полночь отходят в тартарары,
 разрывают связи земной коры,
 толкают друг друга в тощие стены,
 стешат доставить матушке Персефоне
 от матушки Митрофании святые дары.
 внутри телефона
 обороты накручивает вечный толонец,
 третьего дня в наш разговор кто-то влез,
 как водится, ни фига не понял
 из разговора о преимуществах додекафонии
 над полифонией и блаторазумно исчез.
 Переславский метрополитен имени железного Феликса,
 кто сказал, что на один эскалатор нельзя ступить дважды?
 ребристая лента переваливается через
 железные зубья и возвращается каждый
 раз та же самая — так и с волдой и прочим,
 камень, брошенный в небо, возвращается в срок,
 в каменной стене на дне червоточины
 скрывается каменный червячок,
 от рождения озабоченный
 сплевыванием пыли через плечо.
 мне плевать, что будет с тобой, городок,
 валовым колыдом сжимающий меня поперек
 труда, говоришь, не нравится — уходи?
 и ушел бы, если бы мог.
 но и ты, городок, развалишься в срок,
 твой тепел примнется в моей горсти,
 твой камень привьется к моей кости
 и станет в нее расти.

* * *

Буду из тебя добывать руду,
 споду, пустою породу,
 золото, нефть, воду,
 буду водить по городу,
 городить ерунду,
 потом уеду und sei gesund,
 с собою не увезу,
 ты земля, ты грунт,
 забиваешься в рот, в дыхательные пути,
 ты достанешь меня, когда мне уже не уйти,
 торько покойнику по капельке взатерти
 самому собой изойти.

ночью краны сами собой начинают течь,
 я встану рано, потому что забуду лечь,
 черт разберет их — это они обо мне
 или сами с собой, я не понимаю их речь,
 ночью кровь претворяется в эфедрин,
 вырезка из журнала «Хастлер» начинает мироточить,
 архангел Михаил выпускает в меня автоматную очередь,
 я снова проснулся один,
 я проснулся, а справа от меня лезвие,
 повернулся, а слева от меня лезвие,
 в лоббинке меча обнюдоострого
 я опять проснулся один и трезвый,
 только не думайте, что это просто, —
 нет, не просто.

* * *

Занят Создатель, ноги скрестив,
выпиливанием по своей кости,
потом проверяет пустоты на слух
и испускает дух.

над какой водой понесешь теперь свой небывший вес,
за какой нуждой Ты создал и оставил нас,
а мне невозможно жить ни с Тобой, ни без.

я — свернутая резьба, сантехник затил,
вода стоит до щиколоток,
единственный выход было выпить все это залпом,
пробовали, но не получилось,
вода встала до колен, защекогала, стало смешно,
вода стала на колени и уткнулась в пах,
когда она достала нас, то полилась в окно,
и оставила нас плавать на собственных вздутых кишках,
шла по улицам животом вперед, воздух выдавливая
из людей и мелкого домашнего скота.
Просто все думали, что великий потоп — это дело давнее,
а его еще вовсе не было, теперь есть, так-то вот.

и кто-то маленький, совсем невидимый даже,
на вершине, что ли, Эйфелевой башни
голову наклонил и страшивает:

— Теперь Ты вернешься, Боже?
ни с Тобой, ни без Тебя мне жить невозможно,
только жить без Тебя мне тошно,
а с Тобой умирать не страшно.

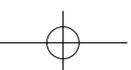


* * *

Так в слове «обман» трепещет прогнанная рука,
луна обходит солнце, отворачивая лицо,
зеркало отворачивается от телесного двойника,
земля отгадывает колесо и плюется,
вода говорит: не вздумай в меня глядеться,
только черные вещи съедают все.

только слепые люди ничего не боятся,
друг на друга руками не налюбуются,
на улице шевелят крылами какие-то птицы,
у улицы сорок ног, но она умеет кусаться,
швыряться, раскалываться, как блюдец...

может быть, это боги надо мною смеются —
а и пускай смеются.



* * *

Обыкновение чистоты, чудо святого Пастера.
скажите, вы всё ещё кипятили?
на фабрике в срок закручиваются консервы,
с этикетки глядят Пречистая и Сладитель.

Грязи уже не родить червей,
Грязь — и та стала слишком жидкой,
земля, пораженная диареей,
сплощивается жутко,
спрашивает — скорее, скорее
чего-нибудь от желудка

а вы — грязь земли,
у вас полужидкая кожа,
где затвердеет — сейчас послазит,
но если грязь перестанет быть грязной, то что же
сделает ее вновь грязной?
последний вирус, на все лопатки положенный,
ожидает казни.

но вы — плоть земли,
вы и всегда ей были,
в вас вода и дерн, страданье и состраданье,
все прочее стает, очистится, перестанет
быть нечистым.
тогда оно стает пылью.



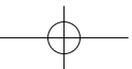
* * *

Под тонкой-тонкой пленкой нефти,
под железной тяжестью соленой воды
превращаются каменные аргонавты
в собственные следы.

вечером небо солнцу пустило кровь и
все замерло, как будто перед атомным взрывом,
ожидая, что вот-вот произнесется последнее слово
и рыбы выстают животы, как белые флаги,
потому что им больше не нужно жить,
а значит, не нужно влать.

и все замерло, как будто перед атомным взрывом,
даже те, кто любил кого-то, забыл о ком-то,
даже тот, кто любил себя, о себе не вспомнит,
вытаращенные окна выкапываются из комнат,
лист дерева хочет сам себя скомкать,
цветок втекает обратно в почву,
стебель хочет обратно в почву,
почва лежит, ни жива ни мертва, ничего не хочет.

и все вымерло, как будто уже не перед,
а после, потому что страх все же съедает душу,
потому что в будущее больше никто не верит,
а в прошлом и в настоящем душно,
и лишь каменные аргонавты выползают на берег,
желая освоить сушу.



* * *

Тебя уже никто не услышит:
небо отчалило на всех парусах.
Тише, мыши, кот на крыше,
коготя на небесах.

я не могу выйти, я не могу выйти,
шаг из себя и обратно два,
в клеточке скворец раздалывает прутья,
у него приклеенная голова.

я не могу выйти, я не могу выйти —
Альбертина утала с лошади,
жители Тбилиси танцуют на площади
по случаю чрезвычайных событий.

в конвертике что-то хрустает,
на перекресте подзорный штани,
наверное, нам прислали какой-то штани,
наверное, скоро мы станем трупами.

шаг из себя, четыре обратно,
сквозь меня уже не проходит свет,
разучусь изъясняться внятно,
превращусь в бесполозный, но безвредный предмет.

стану зеркалом, буду кого ни попадя отражать,
Альбертина утала и больше не дышит,
кот на крыше, но небо не становится ближе,
шаг из себя и обратно пять,

десять, двадцать — а все же я выжил,
господи боже, все же я вышел,
теперь я иду искать.

* * *

Явилась Богородица городу во сне,
город поворочался, сплюнул и пропал,
маленькая лампочка, вдетая в бокал,
одна висит-качается, ей и дела нет.

в сердцевинке лампочки греется вольфрам,
ток бежит по проводу, провод к небесам,
в небо вилкой тычется, потому что в нем
много электричества, надобного нам.

прибежим на лампочку греться и смотреть,
сядем в круг и запоем: «Аве, Богородица»,
пусть она порадуется, пусть она нам авится,
скажет: я не думала, что вас здесь столько водится
и все умеют петь.

сложит Богородица руки на живот,
сын ее родится, а потом умрет.
мы споем ей песню о том, что он воскреснет,
тогда она утешится и домой пойдет.

небо вилку сплюнет, и город, как нарыв,
вырастет на месте, лампочку накрыв.

* * *

Голоса, умеющие становиться глухим,
 гулять по улицам, чтобы те не остались голыми,
 они слух оглаживают. слух оглаживается,
 пытаются ухватить, но больше они ничего не скажут.
 больше двух говорят вслух,
 больше ста говорят прямо из уст в уста,
 слова ускользают, и что-то другое
 приходит на их места.
 устная речь, ее легче увидеть, чем расслышать вполне,
 уличная речь золотым дождем собралась на дне
 ушной камеры. устная речь никогда не говорит со мной,
 говорит во мне.



* * *

Ты — город, выросший из собственных руин,
 где только древняя вода
 Прошепчет: ты всегда один
 И тот же, — и в залоге
 Тебя покроет коркой льда,
 Чтобы не смог рукою двинуть
 И собственный покой отринуть.
 Со всех сторон, как торные породы
 Или жиды пиантских тчел,
 Топорщатся уроды-новостройки,
 В которых изошел
 В песок твой прежний обод.
 Трубопровод протягивает хобот
 И из подземных недр сосет
 Твои вино и мед.
 Прозрачные раститья кранов
 На горизонте тородят
 Новорожденным торожанам
 Многоэтажный светлый ад
 И трубы полосатым жалом
 Сухие небеса язвят.
 Я не хочу сюда назад.
 Мой мозг измучен алкоголем,
 Мой кровотоки бежит рысцой,
 И пробивает мне висок,
 И истекает тошной болью,
 И заливаает мне лицо.
 Меня сожмет подземное кольцо,
 Раскачивая, поездом завертит
 И утрясет меня до смерти,
 А после сплонет, как лузгу, —
 Но и тогда я двигаться смогу.



ПОД РЫСКОЙ

1
 Дается флажками взломанный асфальт,
 а мы идем мимо, нам наплевать,
 скуривает ветер чужую папироску,
 а мне не жалко, я новую зажгу,
 ветер душит солнце, волочет лужу
 по серенькому, рваненькому, мягенькому небу,
 мертвая цикада трещит в его мозгу.

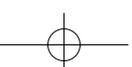
Так они и жили: фотомастерская,
 похоронное бюро, а за ним еще одно,
 с утра было душно, днем стало холодно,
 под низкими мостами не течет река,
 под низкими мостами расочка валается,
 из расочки рыльца кувшиночки торчат,
 на рыльцах насекомые друг с другом общаются,
 отойдешь — заговорят, подойдешь — замолчат.

а что у речки под рыскою? а у речки под рыскою
 встлухший, некрасивый прячется мертвец,
 о речкино дно зубы его длазгают,
 в речкин ил гниль его льется,
 кувшинки рыльцами поворачивают,
 тонкие шейки раскачивают,
 рыбаков подначивают.

а за речкой фабрика проволокой блещет,
 старым кирпичом и граненою трубою,
 она производит не какие-то там вещи,
 совсем другое:
 она производит упаковочную пленку,
 чтобы какие-то там вещи паковать;

пленка проникает в легкие и бронхи,
 лепится к небу, не дает тлеть,
 лепится к пальцам, не дает держать,
 глазам — смотреть,
 душе — умереть,
 языку — говорить,
 и попробуй на это ответить.

2
 а может быть, нет, а может быть, здесь, скоронясь
 под прозрачною пленкою неба,
 приставшей к воде, как непрочный октябрьский лед,
 пройдет моя вечность, как мелкая рыба сквозь невод,
 и в сонную горсть, в провалившийся слепок стопы
 мерцающим шаром тихонько войдет,
 за собою оставив недоплутую, светлую пыль кислорода,
 стеклянные шарики, те, что лишь под водою живут,
 а всплывая, теряют свои удивленные лица,
 затем, чтобы с воздухом неба навеки смешаться,
 раскрутив небывалого тела невидимый жгут,
 а может быть, все, кто умрут, навсегда упокоятся тут,
 а кто не умрет, навеки вморозенный в лед,
 нетронутым тленем свое неподвижное тело внесет,
 как лягушку в ларце, как царевну в печальном
 венчалном уборе
 и стеклянным лицом на лице.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вадим Калинин. Предисловие</i>	5	«Море, потемнившееся в окоем берегов...»	58
		Гора мучеников	59
		Вода	60
		«носители языка никогда не рождали в мою бессмертную душу...»	61
		«так в разверстом богородичном животе...»	62
		Обручение святой Катерины Александрийской	63
		«кто сворачивает пласты не добытых никем пород...»	65
		«маленькими мышами разбегаются лица...»	67
		«так внутри глины ледой, наваливая слетка...»	69
		«крошка Цахес, скрюченное полено в моем глазу...»	70
		Вид в окно	71
		после Москвы	73
		«геральдическим гадом с хвостом раздвоенным...»	76
		«то круглым клавишам полуразрушенной оливетти...»	77
		«коралловые колонии, выстраивающие остов...»	78
		Асфodelи	79
		«вот и выговорилось в недожденной...»	81
		«пусть ярость незаконнорожденная...»	82
		Лед	83
		Рашное	85
		О прогивовобрстве неба верхнего и неба нижнего	89
		«ночами распускается ткань, огрывает печень...»	91
		«пользователи ноосферы, пынствуя с Носферату...»	93
		«поезда Переславского метрополитена...»	94
		«буду из тебя добывать руду...»	95
		«заят Создатель, ноги скрестив...»	96
		«так в слове „обман“ трепещет прогянутая рука...»	97
		«обыкновенные чистоты, чудо святого Пастера...»	98
		«под тонкой-тонкой пленкой нефти...»	99
		«тебя уже никто не услышит...»	100
		«явилась Богородица городу во сне...»	101
		«голоса, умеющие становиться глуом...»	102
		«Ты — город, выросший из собственных руин...»	103
		под раской	104
		«из синевы и желтка, и транатовой красноты...»	26
		«Встань на дылочки, радость моя, поделуй мою шею...»	27
		«тод бледными огнями ламп двойных...»	28
		Старое кладбище	29
		«И никому не отнять у деревьев их голых рук...»	30
		Переславль — Сергиев Посад: автобус	31
		«как школьник, фонарем вооруженный...»	33
		«как каменный шар на скрещенье теней...»	34
		«не будет ли небо то-прежнему...»	36
		«липкой водою плачет ветвоек...»	37
		«и прятать глупо, и не прятать еще глупее...»	38
		«спит дитя, накрыв щекой разжатую руку...»	39
		Сказки братьев Гримм	41
		Бад	43
		«Та красота, что сквозь меня бежит...»	46
		«там, на земле, теперь разрешено...»	47
		«Малюконный, многоколокольный...»	48
		Дрославская набережная	50
		«Солнце в облаке кружится...»	52
		«на восьмigrанном барабане...»	55
		Федра	56

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

ПРОЕКТ О.Г.И.
КНИЖНЫЙ ЦЕНТР «Галерея+клуб»

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

И. МАШИНСКАЯ

«Путнику снится»

*

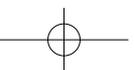
Л. ЧЕРТКОВ

«Стихотворения»

*

К. РУБАХИН

«Книга пассажира»



В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

ПРОЕКТ О.Г.И.
КНИЖНЫЙ ЦЕНТР «Галерея+клуб»

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Г. КОРИН

«Муза и автопортрет»

*

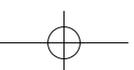
И. ЛИСНЯКОВА

«Мерушатимская тетрадь»

*

С. ЛЬВОВСКИЙ

«Стихи о родине»



В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

ПРОЕКТ О.Г.И.

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР «ГЛАВЕРЕН-КЛУБ»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Е. РИЦ

«Возвращаясь к легкости»

*

П. НАСТИН

«Язык жестов»

*

Е. КЕЛЛЕР

«Уроки молчания»

*

К. БАНДУРОВСКИЙ

«Диттих»

В ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕРИИ

ПРОЕКТ О.Г.И.

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР «ГЛАВЕРЕН-КЛУБ»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

О. ШАТЫБЕЛКО

«Воотт»

*

Е. БОЯРСКИХ

«Daqaz»

*

Ю. ТИШКОВСКАЯ

«Дальше зрения»

Литературно-художественное издание

Гейде Марианна Марковна Время отплытия вещей

Идея серии: Д. Борисов, Н. Охотин

Ответственный редактор Е. Савина

Ведущий редактор О. Старикова

Макет серии: С. Митурич

Обложка: М. Авдин

Компьютерная верстка: А. Иванов



Объединенное гуманитарное издательство
103051, Москва, ул. Петровка, 26, стр. 8
Факс: (095) 924-57 61, тел.: (095) 744-3170
e-mail: info@ogi.ru

Книги издательства ОГИ можно приобрести:

м. «Чистые пруды», Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5, кафе «Вилингва»;

м. «Чистые пруды», Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, клуб «Проект О.Г.И.»;

Кафе «Пиротки»: м. «Площадь Революции»/«Дубанка», ул. Никольская, д. 19/21;

м. «Охотный ряд»/«Театральная», ул. Большая Дмитровка, д. 12/1, стр. 1;

м. «Перово», Зеленый прост., д. 5/12

Заказать книги ОГИ можно: тел. (095) 744-3171, e-mail: info@ogi.ru

Оптовые продажи: тел. (095) 744-3171, e-mail: info@ogi.ru

За пределами России наши книги можно купить: www.estellm.com

Подписано в печать 30.03.2005. Формат 84 × 108 1/32. Гарнитура OffisinaSerif.

Объем 3,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз.

Заказ №